Мои военные дороги

Борис Николаевич Фридман

SHOUT
SHARE
IT

- Фридман Борис Николаевич
  - ○

Фридман Борис Николаевич
Мои военные дороги

Фридман Борис Николаевич
Мои военные дороги
Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу.
Н. Огарев

Хочу описать те обстоятельства, благодаря которым я остался жив, хотя и находился в смертельном водовороте Второй мировой войны.

Взвешивая свои возможности, вдумываясь в прожитые годы, я понял особенности моей памяти: плохо запоминаю прочитанное, но хорошо помню пережитое. Это дает мне основание надеяться, что сумею в своих записках рассказать о главных этапах моей военной дороги.

* * *

Вместе с сотрудником нашего института Михаилом Шейкиным мы 21 июня 1941 года выехали из Москвы в командировку в Кострому. На прямой поезд достать билеты не удалось, мы доехали до Ярославля, пересели на другой поезд и добрались до Нерехты, где пришлось ожидать местного поезда до Костромы. Сидели в привокзальном ресторане и обедали. Я заметил, что около работающего репродуктора толпятся взволнованные люди. Подошел и услышал выступление Молотова - началась война. Было 12 часов дня.

Приехав в Кострому, первым делом позвонил домой. Там все шло, как обычно. Никто еще реально не осознавал случившегося. Пробыл в Костроме неделю и провел намеченную научную работу на одном из предприятий. Все мы жадно следили по радио за событиями, и каждый день приносил нам известия о стремительном продвижении немцев вглубь нашей страны (всякий раз сообщалось, что противник несет при этом значительные потери). Еще никто не понимал серьезности положения.

3 июля в 5 часов утра в нашей московской квартире раздался телефонный звонок, звонил мой друг Митя Белоногов. "В 6 часов будет важное сообщение по радио", - сказал он. В 6 часов выступил Сталин. С напряженным вниманием выслушали мы с женой это выступление. В небольших паузах слышалось легкое

позвякивание, казалось, что ложечка в дрожащей руке постукивает о стакан. Прозвучал его призыв вступать в ополчение. В Москве развернулась шумная кампания. Но в нашем институте было тихо, никто на призыв не откликался. Через несколько дней был созван митинг, где от имени партийного бюро института выступила научный сотрудник Васина, которая в резком тоне сказала, что мужчины позорят коллектив, что партбюро требует проявить гражданское мужество и откликнуться на призыв вождя.

После митинга большая группа сотрудников, в том числе и я, пошли в райком на Донской улице и записались в ополчение. Чувство неизбежности грядущих перемен в жизни появилось с первых же дней войны, а обещанное сохранение зарплаты как-то притягивало: думалось, что все равно мобилизуют, так уж лучше идти в армию, обеспечив семью. Жене еще не было двадцати двух, а дочери Наташе - год с небольшим. Через два дня нас перевели на казарменное положение и разместили в школе на Кадашовской набережной.

Полагаю, что не менее восьмидесяти процентов ополченцев ранее в армии не служили и никакой военной подготовки не имели. У меня ее тоже не было.

Военного обмундирования нам не выдали, мы оставались в штатском. Нашим начальником был человек тоже в штатском, думаю, что это был представитель райкома партии. Днем мы его видели, к вечеру он уходил. Сказали, что мы начнем проходить военную подготовку. Однако все свелось к упражнениям по строевой.

Через некоторое время нам предложили выбрать, в какой род войск хотели бы мы попасть - в пехоту, связь, пулеметную роту, артиллерию и прочее. Мой коллега Разуваев сказал: "Давайте запишемся в артиллерию, не придется ногами грязь месить". Так я стал артиллеристом. Нам объявили, что вскоре мы перебазируемся в Подмосковье и там начнется формирование части ополченческой дивизии им. Сталина Ленинского района города Москвы.

Вспоминается трогательный эпизод. Как-то в очередной раз пришла жена, радостная, с довольно большой коробкой. "Мне очень повезло, - сказала она. -Удалось сделать прекрасную покупку". В коробке лежали очень хорошие по нашим тогдашним понятиям коричневые полуботинки. "Это для тебя, возьмешь с собой". Как же мы были наивны, как не понимали истинного положения страны и своего собственного! Об этом эпизоде я не раз вспоминал в течение моего военного пути, и всякий раз это придавало мне силы.

Точный срок выступления из Москвы нам известен не был, но я, как и все, полагал, что об этом скажут заблаговременно, и я смогу, как было обещано, провести сутки дома, чтобы проститься с семьей. Но все получилось иначе. Неожиданно нам объявили, что через три часа мы выступаем, и домой никого не отпустили. Сердце сжалось, но сделать ничего было нельзя.

Около одинадцати вечера колонна двинулась. Мы прошли по набережной, свернули на Большую Якиманку - и вот дом No 50. С волнением смотрел я на окна нашей квартиры. Вернулся я в этот дом через пять с половиной лет.

Ночь прошла в марше. День разгорался очень жаркий. Мы шли по графику 50 минут марша, 10 минут отдыха. Жара становилась нестерпимой, многих сразил солнечный удар, и санитарные машины увозили пострадавших. Конечным пунктом нашего марша был поселок Толстопальцево, мы прошли до него 40 километров. Расположились в лесу, в шалашах из еловых веток.

Через несколько дней нас одели в военную форму, на ногах - ботинки и обмотки. В остальном ничего не изменилось: продолжали понемногу заниматься строевой подготовкой.

Кампания по формированию московского ополчения прошла бездумно: вождь призвал, и партийные организации стремились отличиться - чем больше будет ополченцев, тем лучше. В результате в ополчение попало большинство преподавателей московских вузов, и начало учебного года оказалось под угрозой.

Появились военные грузовики, приданные нашей дивизии. Людей распределили по родам войск. Мы с Разуваевым были зачислены во взвод боепитания артиллерийского полка. Вскоре поступило распоряжение - выехать в Москву за оружием, боеприпасами и снаряжением. Меня и Разуваева включили в команду, которая на наших грузовиках выехала в Москву. Нам сказали, что ночь проведем в семье. Вечером были у стен артиллерийских складов, однако никого из командиров найти не могли. Остался один старшина, который сказал, что никаких указаний не получил. Возможно, кто-нибудь и осмелился самовольно отправиться домой, но я, как и большинство других, на это не решился и провел бессонную ночь. Телефонов-автоматов поблизости не нашлось, созвониться с женой возможности не представилось. Это была тяжелая ночь, я бы сказал - одна из тяжелейших ночей моего военного пути.

Рано утром появились командиры, все они провели ночь со своими семьями.

Мы получили пушки, гаубицы, винтовки, боеприпасы и часов в десять двинулись в обратный путь. Нам объявили, что будет

небольшая остановка около Горного института, где был расположен штаб нашей дивизии. Двигались мы медленно, так как были заторы - проходили воинские части. И я решил действовать. На Триумфальной площади спрыгнул с машины, сказал Разуваеву, что догоню колонну у Горного института, позвонил по автомату домой и договорился с женой о встрече на углу Калужской площади и Большой Якиманки. Сел в метро, доехал до станции "Парк культуры и отдыха" и побежал к Калужской площади. Мира ждала меня, мы бросились друг к другу. Я боялся, что опоздаю, колонна уйдет, и мы побежали к Горному институту.

Колонна была на месте. Я нашел нашу машину, Разуваев подхватил мою жену, посадил ее в кузов, я сел рядом. Слава богу, мы сможем спокойно проститься. И в этот момент колонна двинулась. Вдоль нее проехал комиссар полка и, увидев Миру, потребовал, чтобы она немедленно сошла с машины. Все, кто сидел в кузове, упрашивали его, но он был неумолим.

Вскоре мы выехали из Москвы и снова остановились среди полей. И тут до меня дошло все происшедшее, я ощутил его как большое горе, и слезы хлынули из глаз.

Много раз на своем военном пути я говорил себе: ты же не простился с Мирой, ты не можешь погибнуть, не простившись с ней. И это было первое обстоятельство, которое помогло мне выжить.

* * *

Через несколько дней после возвращения в Толстопальцево началось наше движение на запад. Проехали Малоярославец, Медынь, Юхнов...

Десятки тысяч людей, одетых в военную форму, с оружием времен Первой мировой войны, не прошедших никакой военной подготовки, двигались навстречу тяжелым испытаниям, большинство - навстречу своей гибели.

Мы пересекли Калужскую область и расположились севернее города Спас-Деменска на территории Смоленской области. В течение августа и сентября несколько раз меняли свое месторасположение. Я плохо помню этот период и поэтому в состоянии записать лишь фрагменты того, что было. Однако думаю, что это все же даст представление об общей картине.

Как и другие артиллеристы, я получил трехлинейную винтовку образца 1881 года. Пехотные полки были также вооружены этими морально устаревшими винтовками, причем, как нам рассказывали, их хватило далеко не всем. В наш полк прибыли молодые лейтенанты - выпускники артиллерийских училищ, еще не имевшие боевого опыта. Им были выданы

автоматы, и мы ходили смотреть, что это такое. Но командиром полка был боевой офицер, полковник, кадровый военный, воевавший с начала войны, вышедший из нескольких окружений. Говорили, что он лично сбил немецкий самолет, и это производило впечатление.

Нас регулярно посещали политрук и офицеры из командования полка. И как-то нам сделали замечание, что мы живем неопрятно, надо навести какой-то порядок на занимаемой нами территории. Мы сделали дорожки, огородили их заборчиком и очень гордились наведенным лоском. Но в очередной свой приход политрук вновь сделал нам замечание: мы навели такую красоту, будто находимся в глубоком тылу и нет никакой войны. А где же щели для укрытия от бомбежки? Ведь каждую минуту возможен воздушный налет! Мы действительно не думали об этом.

Такая беспечность была характерной чертой "ополченческого периода", в этом, думаю, отразилась и определенная беспечность всего командования. У нас был радиоприемник, мы регулярно слушали последние известия и в общих чертах имели представление о ходе военных действий. Но о собственном, конкретном положении не имели никакого понятия. Уже после войны из отдельных публикаций я узнал, что в то время, о котором я сейчас пишу, Западный фронт располагался вдоль реки Десны. На восточном берегу находились позиции советских войск, на западном - немцы. В течение августа-сентября на Западном фронте было относительное затишье. Немцы готовили удар на Москву. Наш Резервный фронт был второй линией обороны, страховал Западный фронт. Замечу, что после войны, во время допросов в СМЕРШе, следователь рассказал мне, что советское командование проглядело подготовку немцев к удару на Москву, удар ожидался на юге страны.

В середине сентября пришло распоряжение готовиться к зиме, переходить на конную тягу: зимой по сугробам невозможно подвозить снаряды на машинах, лошадь же пройдет везде. Не знаю, как бы мы справились с освоением конной тяги, если бы к тому времени не имели пополнения из деревень. Командир взвода и я, его помощник, получили предупреждение, что если мы в течение десяти дней не обеспечим надлежащий уход за лошадьми, то будем преданы военному трибуналу.

Хочу заметить, что чем интеллигентней был ополченец, тем добросовестнее он стремился овладеть всем тем, что необходимо для ухода за лошадьми. Может быть, все это не столь интересно для читателя, но не могу об этом не написать, потому что хорошо помню, сколько волнений доставляла нам эта конная тяга.

Как помкомвзвода я получил персональную лошадь. Седел мы еще не имели, садились на подстеленный кусок брезента - меня подсаживали, сам я сесть не мог, не было стремян, но уздечка и поводья были. Каждый день меня учили ездить верхом. Был случай, когда я свалился прямо под ноги моей лошади, но она перешагнула через меня. Трудно сейчас поверить, что я, несмотря ни на что, совершал в одиночку поездки верхом за пять-шесть километров и ни разу не свалился, в конце сентября конная тяга была заменена вновь на автомобили. Почему - не знаю.

Вспоминается деталь, характеризующая атмосферу неведения и беспечности, которая нас не покидала: тихий теплый вечер, мы сидим с Марковым, беседуем о том о сем, и он, регулярно бывавший в штабе полка, говорит мне: "Идут разговоры, что мы уже окружены". Я ему в ответ: "Да что вы, Александр Николаевич, этого не может быть, была бы слышна стрельба, а кругом так тихо, так спокойно".

2-го октября утром над нами пролетела большая группа немецких бомбардировщиков, направлявшихся в наш тыл. В течение дня пролетело еще несколько эскадрилий. С запада стала доноситься далекая канонада. На следующий день я поехал в соседнюю деревню, на склад, получать продукты и увидел, что по дороге, проходящей через деревню, группами и в одиночку движутся солдаты, офицеры, отдельные машины и повозки, это было беспорядочное движение разрозненных воинских частей. Ко мне подошел солдат и рассказал, что немцы прорвали наш фронт на реке Десне, что его часть рассеяна. На душе стало тревожно.

Вернувшись, я рассказал обо всем командиру, но никаких распоряжений от командования полка не поступало, нам оставалось только ждать. В конце дня был нанесен удар с воздуха по Спас-Деменску (20 километров от нас). Огромное зарево поднялось к небу.

К вечеру появился офицер штаба и дал команду выступать.

Выехав из леса, мы увидели, что весь горизонт охвачен пожарами, на юге продолжал пылать Спас-Деменск. Проехали через деревню, где до этого был расположен штаб нашего полка. Женщины с детьми, старики безмолвно стояли у своих изб, провожая нас взглядом. Все было освещено зловещим огнем дальнего зарева. Через некоторое время мы подъехали к нужной нам дороге. Отступающие воинские части двигались по ней непрерывной вереницей, с трудом включились мы в этот поток. Канонада затихла. Вся ночь прошла в медленном движении, с частыми остановками. Налетов немецкой авиации не было.

С рассветом обстановка изменилась. Над нами пролетали немецкие бомбардировщики, и мы слышали далеко впереди

грохот разрывов. Возвращаясь, самолеты летели бреющим полетом и поливали землю пулеметным огнем. Мы не попадали под бомбежку, - очевидно, немцы бомбили головную часть потока отступающих войск, может быть с целью затормозить общее движение. Это им удалось: мы стали чаще и подолгу останавливаться. При приближении самолетов, обстреливавших нас с воздуха пулеметным огнем, соскакивали с машин и залегали в стороне от дороги. Помню, как один раз, когда я лежал среди других солдат, приникнув к земле, один из них вдруг протянул мне каску (у ополченцев касок не было) и сказал: "Надень, будет безопасней!" Сам он был в каске, откуда у него взялась вторая - не знаю, может быть, снял с головы убитого товарища. Защиты с воздуха не было, мы за все время не видели ни одного нашего самолета, и это угнетающе действовало на людей.

Тем временем на глазах разваливалась вся организация отступления. Все части перемешались, никто не управлял движением. Карт у нас не было, не было их и у командиров других частей. Говоря о командирах, я имею в виду младших лейтенантов и лейтенантов. Командиров более высокого звания мы вокруг себя не видели. Я, скромный сержант, рассказываю о том, что было доступно моему ограниченному видению. Крупное военное событие доходило до меня в виде мелочей, доступных глазу и слуху. Внимание, мысли были сосредоточены на том, чтобы спастись от пулеметного огня, не растерять наши машины, груженные боеприпасами (это пока удавалось) и вывезти все в безопасное место, не допустить, чтобы оно попало в руки неприятеля. Во время остановок наш командир обегал поток отступающих частей, надеясь разыскать штаб или батареи нашего полка, но все было безуспешно. Развал усиливался. Некоторые части стали сворачивать с главной дороги на прилегающие - очевидно, в поисках возможности ускорить продвижение. По сторонам вспыхивали пулеметные и автоматные очереди, но что происходило было нам непонятно.

Вскоре стало ясно, что связь с нашим полком потеряна, выяснить, как попасть в поселок, являющийся нашей конечной целью, не удается, и командир решил самостоятельно искать выход из создавшегося положения. Мы тоже свернули на проселочную дорогу, она была свободной, и стали двигаться быстрее. Но вскоре, при переезде через небольшую мелководную речку, под тяжестью груженой двухтонки деревянный мостик рухнул и машина застряла. Пришлось все машины разгружать, и после переправы каждой на другой берег загружать снова. Возможно, эта задержка сыграла для нас роковую роль.

Колонна двинулась дальше по лесной дороге. Попадались брошенные грузовики (очевидно, кончился бензин), обгоняли небольшие группы солдат, видели отдыхающих в одиночку и группами. Остановились и мы, чтобы передохнуть и поесть. Я с несколькими бойцами пошел посмотреть, что вокруг. Мы увидели военного врача и медсестру, которые, подстелив плащ-палатку, сидели, закусывая. На наш вопрос они ответили, что идут куда глаза глядят, надеясь выйти к своим. Пройдя дальше, наткнулись на брошенную телегу с продуктами. Взяли, сколько смогли, хлеба, набили карманы плитками шоколада и повернули обратно. Все взятое очень пригодилось. Наша колонна продолжила движение, дорога сузилась. Грохот разрывов отходил в сторону.

Через некоторое время показалась двигавшаяся навстречу нам по той же дороге батарея 75-миллиметровых пушек на конной тяге. Мы сблизились, остановились. Командир батареи подошел к нам и сказал, что двигаться дальше нельзя, проселочная дорога выходит на шоссе, которое контролируется немцами, и по нему идут крупные силы противника. "Мы вынуждены были повернуть обрат- но", - заключил он. Стали совещаться - что делать? В это время послышался шум самолетов и сквозь листву деревьев мы увидели над собой немецкую эскадрилью, которая разворачивалась в боевой порядок. Это были пикирующие бомбардировщики. Очевидно, мы были замечены немецким разведывательным самолетом, так называемой "рамой", который часто пролетал над нами на протяжении нашего пути. Мы стали разбегаться. Я успел отбежать метров на сто, когда началась бомбардировка. Это был жестокий удар с воздуха, длившийся минут десять. Одна бомба разорвалась недалеко от меня, я ощутил сильный воздушный удар и на несколько секунд потерял сознание. После того, как бомбардировка закончилась, поднялся и пошел к машинам. Я немного ослабел, уши заложило, голова затуманена. Лежали убитые. Я увидел скопище суетящихся, испуганных людей. Взвода боепитания как воинского подразделения не существовало. Опустив головы, обливаясь кровью, стояли раненые лошади. На поврежденных машинах разгорался огонь и уже раздавался треск разрывающихся патронов. Несколько человек из нашего взвода были ранены, но оставались на ногах. Командира взвода не было видно, не знаю почему, может быть, он был ранен или убит, это как-то никого не интересовало. На меня никто не обращал внимания. Одна из наших машин оказалась неповрежденной, на ней можно было ехать, водитель уже включил двигатель, а люди лихорадочно разгружали с нее ящики с боеприпасами. Машина, на которой ехал я, была повреждена, но не горела. Я с трудом залез в кузов,

отыскал и надел свою плащ-палатку, захватил мой небольшой запас продуктов и, спрыгнув, поспешил к машине, готовой к отправке. Она уже была заполнена до отказа, люди стояли, прижавшись друг к другу. Я в растерянности соображал, как втиснуться в эту людскую стену, и в это время машина тронулась, набрала скорость и скрылась в том направлении, откуда наша колонна приехала.

Неожиданно я остался один. Некоторое время был в шоке, но затем собрался с мыслями. Что же делать? Надо скорее уходить и искать наши части. Заметил недалеко от себя нескольких солдат из встреченной нами батареи и подошел к ним. Они занимались какими-то своими делами и не обратили на меня никакого внимания. Треск разрывающихся патронов усиливался, времени терять было нельзя, и я решил идти один. Меня поташнивало, слабость несколько стесняла движения. По солнцу определил, где восток, и двинулся к лесу. Винтовка была при мне, я не выпускал ее из рук все это время. День стоял теплый и ясный, лес был сухой и по-осеннему красивый. Передо мной открылась большая поляна, и я увидел группу молодых офицеров. Они, стоя, совещались, рассматривая карту. Вдруг послышался шум самолета, показалась "рама". Все, и я в том числе, залегли в кустах. Когда "рама" пролетела, офицеры поднялись, еще немного поговорили и очень быстро пошли в восточном направлении. Я двинулся за ними, но идти столь же быстро был не в состоянии, стал отставать и скоро потерял их из виду. Продолжая путь, вышел на широкую лесную тропу и зашагал по ней. Вскоре увидел, что впереди на тропу из-за деревьев вышел солдат. Мы перекинулись словами и дальше пошли вместе. Лес редел. Мы услышали шум самолетов, над нами пролетела немецкая эскадрилья (мы видели ее сквозь листву деревьев) и минутой позже где-то недалеко раздались характерные звуки пикирующих самолетов и разрывы бомб. Одновременно зазвучали ответные пулеметные очереди - кто-то отважно сражался с врагом. Мы залегли. Наконец все стихло, мы продолжили путь и вышли на хорошую грунтовую дорогу. Вокруг было безлюдно. По солнцу определили, в каком направлении надо идти, и зашагали.

Через некоторое время нас нагнал военный грузовик. Мы подняли руки, и грузовик остановился. В кабине рядом с водителем сидел раненый офицер, рука его была перевязана, повязка в крови. В кузове находилось несколько солдат. Нам помогли подняться, машина тронулась и поехала на большой скорости. Попадались брошенные грузовики, орудия, повозки. Мы нагнали нескольких шагавших в одиночку солдат, и они подсели к нам. Проехали одну деревню - на улице ни души, проехали

вторую, заметили нескольких офицеров, сидевших на лавочке возле одного из домов, они даже не посмотрели в нашу сторону. Проехали еще одну-две деревни, всюду было тихо. И это стало успокаивать. Казалось, что нам удалось оторваться от противника, что путь к своим открыт. И вот на полном ходу мы въезжаем в следующую деревню и попадаем в кольцо немецких танков, заполнивших всю улицу. Наша машина останавливается, в ту же минуту вокруг нас возникают немецкие автоматчики. Сопротивление бессмысленно.

Бросив оружие, мы спрыгнули на землю и стояли в растерянности, окруженные немецкими солдатами, которые вели себя совершенно спокойно. Появился немецкий офицер и вместе с ним русский в штатской одежде, оба заметно навеселе. Русский злорадно произнес: "Ну, отвоевались, ребята!" Это был переводчик. Нам велели построиться. Офицер прошел вдоль строя, срывая с наших пилоток красные звезды. Мы стояли в оцепенении. Почти все немецкие солдаты разошлись. Нас не обыскали, не потребовали никаких документов и уже не проявляли к нам никакого интереса, хотя держали в поле зрения. Спустя какое-то время переводчик вызвал из строя двух наших солдат, увел их куда-то, но вскоре они вернулись с лопатами в руках. Им было приказано закопать в землю брошенные нами винтовки. Затем нас под охраной нескольких автоматчиков отвели на край деревни, где были небольшие ямы, вырытые в песке, и это стало местом первой нашей ночевки в плену. Нас охраняли два автоматчика.

Я в плену! Что же я чувствовал? Прежде всего - что все потеряно, война проиграна. Надо сказать, что такое чувство владело первое время всеми, попавшими в плен, я это слышал от многих. Я был подавлен. И вместе с тем мысль о том, что, быть может, никогда больше не увижу жену, дочь и близких, казалась совершенно нереальной, какой-то абстрактной, вызывала чувство недоумения.

Проходили часы, многие пленные спали. Ночь была теплая, небо звездное, стояла тишина. Близилось утро 7-го октября 1941 года.

* * *

Позволю себе привести три цитаты: 1. "К исходу 6 октября 1941 года значительная часть Западного и Резервного фронтов была окружена западнее Вязьмы". (Г.К. Жуков "Воспоминания и размышления".) 2. "...печально-знаменитый "Вяземский котел" поглотил более миллиона наших солдат убитыми и 600 тысяч пленными". (Газета "Известия" 20 июля 1998 года.) 3. "В советское время о "Вяземском котле", о количестве его жертв скромно

помалкивали. Трагедия нескольких армий и московского народного ополчения как бы не существовала". (Там же.)

Я был маленькой песчинкой в этом смертельном водовороте.

* * *

Утром нас построили и повели по лесным дорогам. По пути к нам присоединилось несколько групп пленных, и вместо десяти-двенадцати человек шло уже несколько сотен.

К вечеру мы дошли до Спас-Деменска. Нас привели к городскому рынку, превращенному немцами в транзитный лагерь для военнопленных. По обе стороны перед входом в ворота стояли шеренги немецких солдат, которые палками били проходящих пленных. Я шел в середине, и удары меня не достали. Вся территория рынка уже была заполнена пленными. Мы нашли себе местечко на земле. Мы - это два пожилых солдата, тоже ополченцы, рабочие одной из московских фабрик, они шли в колонне рядом со мной, солдат из моего взвода и я. И тут вспоминается трогательная деталь: поговорив между собой, пожилые солдаты раскрывают свои сумки, вынимают по два одеяла из каждой и дают по одеялу мне и моему одновзводнику.

Новые группы пленных прибывали в течение всего следующего дня. Никакой еды нам, конечно, не давали. На территории рынка была одна-единственная действующая водопроводная колонка, и только вода поддерживала наши силы.

Помню один эпизод. С утра, когда рассвело, пленные бросились к колонке. Образовалась давка, и в результате никто не мог напиться. Вдруг появились несколько немцев с дубинками и принялись избивать столпившихся у колонки людей. Мгновенно был наведен порядок, выстроилась очередь.

С немцами было несколько человек в советской военной форме, тоже с дубинками в руках. Это была так называемая полиция, созданная из пленных. Немцы ушли, а полицейские остались возле колонки, наблюдая за порядком, который, кстати говоря, больше не нарушался.

На другой день большая колонна военнопленных двинулась в долгий путь. Ни конца, ни начала ее видно не было.

С обеих сторон на расстоянии около ста метров друг от друга шли полицейские с дубинками и со свистками. Впереди и сзади колонны ехали машины с немцами. Отстававших пристреливали.

В больших селах колонна ненадолго останавливалась. Деревенские старики сумрачно глядели на нас, и я не увидел сочувствия в их глазах. Женщины обходили колонну - искали своих мужей, окликая их по именам и фамилиям.

Вспоминаю некоторые детали. Мы стоим в большом селе. Несколько молодых немецких солдат без оружия входят в

колонну и что-то ищут, осматривая пленных. Искали, как оказалось, кожаные ремни. Далее: из хаты выбегают двое немцев, подбегают к пленным и раздают им хлеб и остатки пищи, которую, очевидно, не доели. Крестьянка держит в руках полбуханки хлеба и предлагает обменять ее на пару белья, которую пленный должен снять с себя! Однако были случаи, когда хлеб раздавали пленным, ничего не требуя взамен. Однажды достался кусок и мне.

Трое суток в плену. Еды никакой, только вода. Практически все эти ночи я не спал. Но силы не оставляли, внутреннее напряжение позволяло держаться на ногах. На четвертое утро при выходе из того поселка, где мы ночевали в последний раз, колонну остановили и выдали каждому по куску хлеба, приблизительно граммов по триста.

К концу следующего дня вошли в город Рославль. Нас завели на какую-то территорию, где были большие складские помещения, приспособленные немцами для содержания пленных. Территория была обнесена кирпичной оградой. Склады были забиты людьми, и я вместе с моим однополчанином решил расположиться во дворе, на земле, так как ночь была достаточно теплой. Однако дождь заставил нас укрыться в одном из складов. Помещение было полностью забито людьми, которые стояли, тесно прижатые друг к другу, лечь или присесть было невозможно. Я надеялся, что смогу уснуть стоя, но это тоже оказалось невозможным: сжатая людская масса раскачивалась из стороны в сторону. Люди кричали: "Перестаньте раскачиваться, успокойтесь!" Но безрезультатно. До сих пор помню этот кошмар. Вся ночь прошла без сна, в качке из стороны в сторону.

На следующий день к вечеру мы вошли в город Кричев. Лагерь для военнопленных был расположен на территории какого-то завода, сильно поврежденного. Здесь впервые за все ночи в плену я спал.

На следующее утро получил первую "пайку": так называемый чай - кружку чем-то подкрашенной горячей воды и кусок черного хлеба, граммов 250. Еще не имея постоянного места, я растерянно бродил по лагерю, каким-то отупелым взглядом воспринимая лагерную действительность. Зашел в одно из заводских помещений. Ко мне неожиданно подошел незнакомый пленный и спросил, не из Москвы ли я. Получив утвердительный ответ, он предложил мне войти в команду, обеспечивающую порядок в лагере. Я согласился. Он попросил подождать его и через некоторое время вернулся с каким-то человеком, тоже пленным, который, посмотрев на меня, сказал, что мне надо побриться. Узнав, что у меня ничего для этого нет, мне принесли безопасную

бритву с лезвием и кружку холодной воды. И я, бривший всегда в парикмахерской, никогда еще не державший в руках бритвы, чудом сумел побриться, смачивая лицо холодной водой и превозмогая боль от тупого лезвия. Меня отвели к начальнику команды. Это был пленный офицер (в прошлом, как потом выяснилось, секретарь райкома партии где-то в Подмосковье). Он спросил мою фамилию (я к этому времени уже решил называться девичьей фамилией моей матери - Пейко) и выдал мне белую повязку, которую я повязал на левую руку. Меня отвели в уцелевшее помещение - довольно большую комнату, показали мне место для спанья. На полу были впритык уложены тюфяки, один из которых стал моим.

Таким образом я оказался при деле. В наши обязанности входило: охрана некоторых складов, поддержание порядка при раздаче пищи, дежурство у входа в лагерь.

Как-то само собой, не прилагая никаких усилий, я оказался в условиях значительно лучших, чем основная масса пленных. Такие благоприятные повороты судьбы сопровождали весь мой военный путь и, полагаю, спасли мне жизнь. Причем мне не пришлось платить за это какими-либо неблаговидными поступками.

Я понемногу осваивался с лагерной действительностью. Подружился с одним из членов нашей команды. Это был инженер-электрик, москвич, довольно интеллигентный человек. К сожалению, не помню его имени и фамилии. Стал понемногу вспоминать те крохи немецкого языка, которые усвоил в школе и институте. Запаса слов было достаточно, чтобы вести с немцами какой-то незамысловатый разговор. Это оказалось очень полезным. Контакты с немцами возникали в основном во время моего дежурства у входа в лагерь. Немецкие часовые скучали, вели себя просто, часто мы сидели на одной скамье и беседовали. Они меня понимали. Разговоры были о том, о сем: откуда я, женат ли, имею ли детей. В свою очередь они рассказывали о своих семьях. Частенько угощали меня пачкой сигарет, что было предметом зависти дежуривших со мной членов нашей команды. Я раздавал сигареты товарищам по дежурству, но в первую очередь обеспечивал куревом своего приятеля.

У командира нашей команды был заместитель, имевший в Красной Армии звание старшины. Это был грубый, властный человек с очень жесткой физиономией. Он не раз видел, что я получаю от немцев сигареты и раздаю их. Это оказалось для меня роковым.

Дней через 15-20 после моего прибытия в лагерь готовилась очередная партия для отправки на запад. Я в этот день нес

дежурство у пункта раздачи пищи. Ко мне подошел старшина, отвел в сторону, снял с моей руки повязку и сказал: "Собирайся и отправляйся вместе с партией вон из лагеря. Если увижу, что ты остался, пеняй на себя - живым тебе не быть".

Я получил баланду, вернулся в наше помещение. Мой приятель был свободен и отдыхал. Я ему все рассказал, и он неожиданно объявил, что едет вместе со мной. Не говоря никому ни слова, снял повязку, собрался, и мы вышли. А через полчаса уже шагали в составе колонны к вокзалу. Нас ждали товарные вагоны и неизвестное будущее. Несколько часов спустя мы были в Могилеве, в Stalag'e - лагере для военнопленных. Был конец октября 1941 года. Нас разместили в бараке с трехъярусными деревянными нарами. Ночь прошла в тревожном сне. Дума- лось - как все сложится? Утром, получив свою пайку, мы с моим товарищем (я буду в дальнейшем называть его Петр) стали осматриваться. Опыт лагерной жизни в Кричеве показал, что выжить пленному, если он не устроится в какую-нибудь лагерную организацию, очень трудно. Мы бродили по лагерю в поисках чего-либо подходящего, но повсюду штат был укомплектован.

Шагая дальше по лагерю, увидели стоявшую в ожидании чего-то группу пленных, человек восемьдесят. Подойдя поближе, выяснили, что эта группа только что прибыла в лагерь и состоит из офицеров. Последнее было для нас немаловажным. Немцы относились к офицерам несколько иначе, чем к простым солдатам, и мы с Петром встали в ряды этой группы. Опасались, что нас могут попросить выйти, но обошлось - никто даже внимания не обратил. Так мы превратились в офицеров.

Вместе с группой мы получили чай, кусок хлеба и баланду. Это было для нас нечаянной радостью, так как в этот день мы уже один раз свою пайку получили.

Военнопленные рассматривались немцами как рабочая сила. Лагерь предоставлял эту рабочую силу городским организациям и воинским частям. Значительная часть пленных, как правило, оставалась невостребованной, и люди стояли или сидели на земле ежедневно по три-четыре часа в любую погоду. Зима 1941-42 гг. была очень суровая, и похоронная команда, составленная из пленных, ежедневно вывозила на дровнях десятки трупов и хоронила их в братских могилах.

Stalag был большим лагерем. Пленные размещались в нескольких секторах по национальному признаку. Немцы стремились использовать национальные противоречия, существовавшие в Советском Союзе, возбудить ненависть к русским, они подавали себя как освободителей народов СССР от диктатуры русских и евреев. Русские пленные жили в самых

плохих домах и бараках.

Во всех лагерях, которые я прошел, к прибывшей колонне немцы через переводчика обращались со словами: "Евреи и политработники, выходите" И кое-кто выходил.

Потянулись день за днем. Основным чувством, которое владело нами и определяло наши поступки, было чувство голода. Оно угнетало, лишало достоинства, обедняло мысли. Одной из тем разговоров, особенно любимой, были воспоминания о том, кто что ел до войны. Все внимательно слушали подробные описания обедов, ужинов, попоек. Нашлись мастера таких рассказов. Это почему-то успокаивало, позволяло забыться. Но вообще разговоров было мало, в перерывах между едой люди стремились поспать, это сберегало силы. О себе рассказывали скупо. Одной из причин была боязнь доносов: полагали, что среди нас есть стукачи. О войне говорили неохотно, все еще находились под впечатлением пережитого разгрома и склонялись к мысли, что война проиграна. Несколько раз проносился слух, что Москва взята немцами, и это камнем ложилось на сердце, но многие радовались - скорее закончится война, скорее вернемся домой.

Одна из поездок на работу сыграла большую роль в нашей с Петром судьбе. Нас привезли на могилевскую электростанцию. Мне досталась уборка большого зала. Отнеслись ко мне очень хорошо. Женщины сочувственно расспрашивали, откуда я, как живется в лагере, и ухитрились принести мне мисочку супа и тарелку каши из своей столовой. Еда показалась мне царской. А мой Петр сумел за это время встретиться с главным инженером и договориться с ним. Оказалось, что городское хозяйство испытывает недостаток в специалистах различного профиля, и немцы допускали, чтобы пленные нужных специальностей постоянно работали в городе. Содержали их в небольшом лагере, расположенном в черте города. Петр был, как я уже писал, инженером-электриком, по-видимому, высокой квалификации. За инженера-электрика он выдал и меня. Я пришел в смятение, но Петр меня успокаивал, обещал всему научить.

Приблизительно через неделю нас с Петром вызвали в русскую комендатуру. Помощник коменданта поздравил нас - пришла заявка от городской электростанции, и соответствующее разрешение от немецкой администрации получено. "Там значительно лучше кормят, вам будет хорошо", - добавил он.

Оказалось, что помощник коменданта москвич, администратор Художественного театра, хорошо знает режиссера Гжельского - брата жены моего дяди Владимира Георгиевича. Мы разговорились, он предложил мне заходить к нему. Но русская

комендатура помещалась в одном доме с немецкой, подходить к этому дому пленным было запрещено. Я напомнил об этом моему новому знакомому, и он выписал мне постоянный пропуск для хождения по всему лагерю.

* * *

Приближался Новый год. Очень холодная зима 1941-42 гг. была в разгаре, и мне в моей пилотке и легкой шинели приходилось туго. Однажды нас с Петром снова вызвали в комендатуру. Небольшого роста человек лет пятидесяти, интеллигентной внешности отрекомендовался: Борис Иванович Постников. Он побеседовал с каждым из нас, очевидно желая выяснить, с кем имеет дело. Оба мы ему, по-видимому, понравились, и он сказал, что заведует лагерной баней и предлагает нам вступить в банную команду. Мы, естественно, согласились. "Я хочу сохранить жизнь хотя бы нескольким русским интеллигентам", добавил он. Как потом выяснилось, он узнал о нас в комендатуре. Вот как бывает иногда.

Несколько дней спустя мы переселились в комнату, выделенную для банной команды в квартире на первом этаже того дома, где размещалась немецкая и русская комендатуры. В этом доме работал водопровод, канализация. Нам утеплили окно и установили небольшую плиту, топившуюся углем, который мы брали в котельной. На чердаке дома нашлись пружинные кровати и листы фанеры, которые мы использовали вместо матрацев. Нашлось и какое-то тряпье, из которого соорудили подобие подушек.

На окраине лагеря мы обнаружили сарай, забитый мороженым картофелем, и использовали его как дополнительное питание. Железной лопатой выбивали глыбу смерзшегося картофеля, оттаивали, и на плите готовили вполне съедобное желе. Каждый день кто-то из нас не ходил на работу и занимался приготовлением этого варева.

Борис Иванович принес мне кусок материи, которым я повязывал голову, а сверху напяливал мою жалкую пилотку.

Через некоторое время он выхлопотал для нас и специальное питание. В запретной зоне имелась своя кухня, готовившая еду для тех, кто работал в русской комендатуре, для руководителей лагерной полиции, для начальников из пленных, которые отвечали за водопровод, отопление, канализацию. В эту элиту включили и нас. Здесь все готовилось из доброкачественных продуктов. Утром мы получали сладкий чай или фруктовый кофе с хлебом (все те же 250 граммов), в обед - мясной или рыбный суп и кашу с маргарином, вечером снова каша или хороший вареный картофель. Но мы настолько изголодались, что еще долго с

удовольствием поедали наше "желе".

Несколько раз в баню под охраной немецких автоматчиков привозили из города группу евреев. Это были портные и сапожники высокой квалификации. Они рассказали, что содержатся под стражей в одном из городских домов и обслуживают немецких офицеров - шьют по заказу одежду и обувь. Их вполне прилично кормят, за каждый выполненный заказ что-то платят - продуктами или деньгами. Но настроение у них было мрачное. "Ждем смерти", - говорили они.

Все расправы с пленными осуществлялись полицейскими, немцы своими руками ничего не делали и внутри лагеря бывали редко. При русской комендатуре была так называемая "расстрельная команда", которая по приговору немецкого коменданта расстреливала людей.

Заходя в русскую комендатуру к помощнику коменданта, я познакомился с двумя киевлянами - одному было под пятьдесят, другой - совсем юный. Оба прилично владели немецким и работали писарями. Я всегда перекидывался с ними словечком, они сообщали мне лагерные новости, кое-что о внешнем мире. Как-то молодого не оказалось на месте, на другой день тоже. Я спросил у пожилого киевлянина, где юноша, не заболел ли, и получил ответ (шепотом!): он арестован, так как оказался евреем. Через несколько дней его расстреляли.

* * *

Шел 1942 год. В феврале в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Эта беда не обошла и нашу комнату. Заболел один наш сосед, вслед за ним - Борис Иванович. Через десять дней его не стало. Это было для нас большим горем. Я сохранил память об этом прекрасном человеке. Он был москвич, жил на Житной улице. Когда я после войны вернулся в Москву, то сначала хотел найти его семью и обо всем рассказать, но меня остановило созданное в стране отношение к попавшим в плен - я решил, что для семьи Бориса Ивановича будет лучше, если он будет числиться пропавшим без вести.

Вскоре был назначен новый заведующий баней - молодой парень, немец Поволжья, ему не было и тридцати. Он относился к нам корректно, но не более. В нашей работе ничего не изменилось, но нам очень не хватало Бориса Ивановича.

Шло время и становилось все яснее, что новый заведующий баней намерен обновить состав банной команды, а возвращаться в прежнее лагерное положение мне, естественно, не хотелось.

На душе становилось все тяжелее. Продолжала давить мысль, что война проиграна. Мы ничего не знали о поражении немцев под Москвой, ничто не помогало как-то воспрянуть духом. Из

рассказов пленных, прибывших в лагерь в 42-ом году, до нас дошло, что в Советском Союзе ожидает солдат и офицеров, вышедших из окружения или бежавших из плена, и это усиливало чувство безнадежности, казалось, что все кончено.

Готовилась очередная партия (солдатская) для отправки в Германию. После больших колебаний я принял решение ехать с этой партией. Не хотел оставаться на земле Советского Союза, надеялся затеряться в каком-то далеком мире. Было пронзительное ощущение, что возврата к нормальной жизни для меня нет, и я как бы шагнул в пропасть с мыслью "будь что будет".

* * *

Нас привезли в Кюстрин-на-Одере и разместили в лагере на окраине города, в небольших одноэтажных деревянных бараках летнего типа. Внутри все те же двухъярусные нары. На другой день нас пропустили через баню, а наше белье через "вошебойку". Всех остригли под машинку. Нашу прежнюю одежду не вернули, вместо нее выдали штопаную-перештопаную немецкую военную форму времен первой мировой войны, а на ноги - деревянные башмаки. На груди и на спине выданных кителей были намалеваны масляной краской буквы "SU" - Sowjet Union, Советский Союз. На каждого была заведена карточка: имя, фамилия, год рождения, гражданская специальность, род войск. Взяли отпечатки пальцев, сфотографировали анфас и в профиль, каждого взвесили. Я весил 46 килограммов. Полицейский, взвешивавший нас, сказал мне: "Не расстраивайся, батя, недолго протянешь". К этим, вообще-то говоря, очень неприятным словам я отнесся спокойно. У меня уже выработалась некая внутренняя устойчивость, позволявшая легче переносить тяготы плена, в частности недоедание. Должен сказать, что по моим наблюдениям, хилая интеллигенция, как правило, переносила голод лучше, чем колхозные парни.

В кюстринском лагере я пробыл около двух недель. За это время, хотя и не без труда, привык к деревянной обуви. О питании скажу только, что жили мы впроголодь.

И снова товарный вагон с двухъярусными нарами, и снова в путь...

Возле какого-то большого города наш вагон отцепили от состава и поставили на запасной путь. В нескольких шагах от нас рабочие ремонтировали железнодорожное полотно. Я сказал им "Guten Tag", они тотчас подошли вплотную к вагону. Я спросил, какой это город, и услышал в ответ: "Берлин". Завязался разговор, среди прочего спросили, скоро ли и чем, по нашему мнению, окончится война. Я ответил, что не так скоро, но победа будет за Советским Союзом. Они усмехнулись, но никто мне не возразил.

Примечательно, что отношение этих немцев к нам было безусловно дружелюбным.

Через некоторое время маневровый паровоз медленно потащил наш вагон через Берлин по S-Bahn'y - городской железнодорожной линии. С напряженным вниманием смотрел я на улицы, заполненные людьми и транспортом всякого рода. И вдруг увидел теннисный корт и играющих на нем мужчину и женщину. Эта картина так взволновала меня, что я испытал шок. Прежняя жизнь показалась миражем, далеким и недостижимым.

На одном из берлинских вокзалов нас прицепили к пассажирскому поезду, и час спустя мы прибыли к месту назначения. Это был, как я узнал позже, маленький городок Вильдау в тридцати километрах к югу от Берлина.

Это был рабочий лагерь при машиностроительном заводе фирмы Schwarzkopf. Длинный одноэтажный деревянный барак, трехъярусные нары, у выхода из барака, за перегородкой, отхожее место - примитивный дощатый помост с "очками", рядом - умывальники. Чтобы попасть на завод, надо было, выйдя из лагеря, спуститься по крутой лестнице, насчитывавшей 64 ступени (это число мне хорошо запомнилось), а потом, возвращаясь с работы, подняться.

Каждому пленному был присвоен номер, который был выведен масляной краской на кителе. Мой номер - 83.

На другой день всех нас привели на завод, в цех металлообрабатывающих станков. Человек двадцать, в том числе и меня, оставили в цехе, остальных передали в другие службы. Тем, кто остался, было сказано: "Будете обучаться работе на станках". Каждого тотчас прикрепили к одному из немецких рабочих.

Так я превратился в токаря. Уже через месяц ко мне прикрепили ученика - молодого француза. Это был не пленный, он прибыл в Германию, так сказать, по "трудовой мобилизации". За время пребывания в лагере я обучил трех французов.

Распорядок нашей жизни был таков: подъем в шесть утра, умывание, морковный чай или суррогатный кофе с сахарином и 250 граммов хлеба. В 7 часов начиналась работа. Рабочий день - двенадцатичасовой. В 10 у немцев был пятнадцатиминутный перерыв, они закусывали тем, что приносили из дому. Заодно перерыв был и у нас, только закусывать было нечем. В полдень - обед. Мы получали миску довольно густого супа. Обедали в отдельном помещении. В 19 часов - конец рабочего дня. Мы возвращались в лагерь, где получали еще раз по миске супа. В 22 часа - отбой.

Отношение к нам немецких рабочих было с самого начала

вполне нормальным. А ведь по цеху было расклеено такое обращение к немцам: "Рядом с вами будут работать русские пленные. Помните, что это наши враги, поэтому никакого общения, держать их в изоляции. Следите за ними, не допустите диверсии с их стороны, сообщайте о подозрительных. Нарушающие эти указания будут привлекаться к ответственности".

Вопреки этим запретам у нас быстро стали налаживаться хорошие отношения. Мой первый наставник - старичок начал с того, что в первый же утренний перерыв дал мне бутерброд, и далее я каждый день получал от него немного съестного. Работая уже самостоятельно, я сдружился с немцем, чей станок был рядом с моим. Его звали Адольф. Вскоре он стал ежедневно приносить мне небольшой мешочек вареного картофеля, иногда с овощами. Передавать это открыто было опасно, но мы нашли способ: туалет в цеху был разделен дощатой перегородкой на две части - одна для немцев, другая для пленных. В помещении было окно. Перегородка, разделяя его надвое, не доходила до стекла, оставалась щель шириной с подоконник. Через эту щель, выждав, когда в туалете нет немцев, Адольф и передавал мне еду. Надо сказать, что вскоре почти каждый пленный, работавший в нашем цеху, имел такого покровителя.

Это было проявлением истинно человеческого сочувствия, в котором мы нуждались, полагаю, не менее, чем в пище.

Мой станок находился недалеко от кабинета начальника смены - человека моих лет. Он жил в Берлине и ездил в Вильдау на электричке. У нас постепенно сложились довольно хорошие отношения. Я стал получать от него немецкие газеты и уже имел представление о положении на фронтах. Начиная с августа, в центре внимания прессы был Сталинград.

С начальником смены я часто вел разговоры. Он интересовался Советским Союзом и при этом агрессивной позиции не занимал. Несколько раз он привозил мне из Берлина фрукты, даже ломти арбуза, чем меня весьма тронул. Я был также тронут тем, что в день рождения своей жены Адольф принес мне пакет с бутербродами, пакетик жареного картофеля с мясом и несколько домашних пирожных.

Вспоминается пожилая немецкая пара: он заведовал испытательной лабораторией, она работала в заводской конторе. Он часто подходил ко мне побеседовать. Их старший сын был в армии Паулюса. Однажды оба пришли встревоженные: от сына давно нет писем, дело к зиме, а у него нет зимнего обмундирования. Они спрашивали, насколько холодны русские зимы. В другой раз они пришли ко мне с младшим сыном,

который окончил какое-то военное училище и был в военной форме. Отец хотел показать ему русского пленного. Парень спросил, какого я мнения о немецкой армии и при каких обстоятельствах попал в плен, и, когда я ответил, что попал в окружение, он с гордостью заметил, что окружение (по-немецки это звучало "попасть в котел") - основа немецкой тактики. Разговаривал он со мной в самом дружелюбном тоне и под конец спросил, чем, по моему мнению, окончится война. Когда я ответил: "Безусловно, победой Советского Союза", лицо молодого немца выразило недоумение, я бы даже сказал смятение. "Неужели вы так думаете!" - воскликнул он.

После возвращения с работы, перед раздачей вечерней еды, нас выстраивали и проводили перекличку. Бывало, что при этом некоторых вызывали из строя и уводили. Это означало, что они в чем-то провинились и будут наказаны. Виды наказания были таковы: лишение вечерней еды, заключение на ночь в карцер, удары плетью (!). Наказание определял начальник охраны, экзекуцию производили полицейские.

В воскресенье мы не работали. С утра убирали барак и территорию, затем мы были предоставлены самим себе. Один из пленных принес из конструкторского бюро немецко-русский словарь, и мы занимались чтением газет, которые приносил я. В первую очередь прочитывались военные сводки. К этому времени гнетущее чувство, что война проиграна, прошло. Затеплилась вера в победу.

Помню, как однажды при обыске в бараке (такие обыски производились регулярно) у меня нашли словарь и газеты. Командир охраны обрушился на меня - зачем мне нужен словарь, откуда у меня газеты. Я на немецком языке дал объяснения. Газеты он отобрал, а словарь все же оставил, и наказан я не был.

Не могу не упомянуть об одном случае, о котором мне рассказали. Оказывается, среди нас был один еврей, и все шло хорошо, пока кто-то из пленных, очевидно, желая выслужиться, не донес на него. Еврея посадили в карцер, продержали несколько дней, а затем вернули в барак. Больше его не трогали, он продолжал работать. Доносчик же был избит пленными. Вряд ли этот случай типичен, но что было, то было.

За время моего пребывания в лагере трое человек умерло - истощенные люди с трудом переносили даже легкую простуду. В августе и я почувствовал себя хуже. Отекали ноги, труднее стало подниматься по лестнице, ведущей в лагерь. На шее появился и долго не проходил болезненный фурункул. В довершение всего я обнаружил на рубахе вошь.

* * *

В один из дней на утренней проверке были названы четыре номера, в том числе и мой. Было объявлено, что обладатели этих номеров работают последний день, завтра с утра их отправят в другое место.

Я был очень обеспокоен. Работа не клеилась, а в середине дня меня неожиданно вызвали к начальнику цеха. Такой вызов всегда был событием. Начальник цеха, человек лет пятидесяти, принял меня один на один. Он предложил мне сесть и сказал, что знает о моем отъезде. Я спросил, известно ли ему, куда меня переводят; он этого не знал. Затем он сказал, что сожалеет о том, что наша встреча состоялась в такое тяжелое, трагическое время, что вражда между нашими народами навязана темными силами, но он надеется на лучшее будущее. Мы пожелали друг другу всего хорошего, и я вышел. Его рискованные слова произвели на меня большое впечатление.

На другой день мы в сопровождении двух автоматчиков вышли из лагеря, дошли до железнодорожной станции, сели на пригородную электричку и доехали до одного из берлинских вокзалов. Через некоторое время мы снова сидели в вагоне пригородной электрички и спустя час с небольшим вышли на станции Луккенвальде. Вскоре мы оказались в проходной большого интернационального лагеря для военнопленных.

Высшее немецкое руководство приняло решение использовать русских военнопленных для подсобных хозяйственных работ в частях зенитной артиллерии, размещенных на территории Германии. Это позволяло высвободить некоторое количество военнослужащих для отправки на фронт - Германия уже ощущала нахватку людских резервов.

Лагерь в Луккенвальде состоял из двух частей: одна для советских военнопленных, вторая для пленных всех других национальностей. Эти части были разделены двумя рядами колючей проволоки, и переход из одной в другую был запрещен. За кратковременное пребывание в Луккенвальде мне не удалось узнать подробности о жизни пленных других национальностей. Выяснилось только, что Международный Красный Крест снабжает их продовольствием, и это значительно улучшает питание, кроме того, французский пленный может получать (и получает) продовольственные посылки из дома. Таким правом обладали и некоторые другие национальности (например, бельгийцы, голландцы). Как-то, прохаживаясь по лагерю, я увидел, что на другой территории идет игра в футбол на благоустроенном футбольном поле. Соревновались, как мне сказали, французские и английские пленные. Я был потрясен...

Советские военнопленные были вне закона. Сталин считал,

что у него военнопленных нет, есть предатели. Поэтому Советский Союз не состоял в международных организациях, следивших за соблюдением международных правил, касающихся положения и содержания военнопленных. Не был СССР и членом Международного Красного креста. Это допускало любые действия немецких властей по отношению к советским военнопленным.

Но дни шли своей чередой. Через несколько дней человек тридцать, в том числе и я, были вызваны с вещами. За нами приехали крытые грузовики, и мы в сопровождении автоматчиков двинулись в путь.

Часа через три прибыли, как потом выяснилось, в город Цейц, приблизительно в 50 километрах южнее Лейпцига. Меня и еще троих пленных оставили в городе при штабе зенитного подразделения, остальных пленных развезли по другим местам.

Это был полк, охранявший большой химический завод, расположенный на окраине города. Нашим непосредственным начальником оказался завхоз молодой немец в звании фельдфебеля.

Еду мы стали получать из общего солдатского котла. Порции были вполне достаточными, что было для меня спасением: к моменту приезда в Цейц я был уже сильно истощен.

Почти ежедневно мы на грузовой машине выезжали в город, нас использовали как грузчиков при получении всего необходимого для жизни штаба - продуктов, сигарет и сигар, мыла, различных хозяйственных предметов. Регулярно в городскую прачечную отвозилось белье. Нередко получали товары в небольших частных магазинчиках. Всякий раз персонал этих магазинчиков проявлял к нам интерес, с нами пытались заговорить, и с моей помощью разговоры в какой-то мере удавались. Женщины сочувственно расспрашивали, кто остался у нас на родине и как нам жилось там. Узнав, что я из Москвы, почти все интересовались, видел ли я Сталина и как он выглядит. Тон разговоров всегда был дружелюбным. Нередко нам тайком совали в руки пачки сигарет или какие-нибудь сладости. Никто нашим беседам не препятствовал, но все же велись они с оглядкой.

В одну из таких поездок нам пришлось ожидать нашего хозяйственника, который ушел что-то выяснять, оставив нас с машиной на улице.

Вдруг подходит плохо одетый старик-немец и спрашивает, говорит ли кто из нас по-немецки. Я отозвался. Он взял меня под руку и попросил пройти с ним. Десятка через два шагов он завел меня в какой-то закуток, где было еще двое старых немцев. Они шепотом сообщили, что состояли в социал-демократической

партии, разгромленной фашистами, что они следят за ходом войны, верят в Советский Союз, несмотря на поражения, понесенные Красной Армией, а под конец все же спросили меня, чем, по моему мнению, окончится война. Мобилизовав все свои скудные знания немецкого, я постарался уверить их в неизбежном разгроме фашизма. Во время нашего короткого разговора один из старичков стоял у входа в закуток на страже.

Штабные офицеры и солдаты относились к нам вполне корректно. Вспоминаю, как однажды, когда я убирал коридор в офицерском доме, из своей комнаты вышел офицер, знавший меня. Он пригласил меня к себе в комнату, предложил сесть, угостил чашечкой кофе и расспросил, откуда я, кто по специальности и прочее. Я рассказал о своей семье и родителях. Это был человеческий, уважительный разговор.

Однажды нас, четверых, вместе с теми пленными, которых развезли по батареям, отправили в городскую поликлинику. Дело в том, что у одного из пленных заподозрили туберкулез, и немцы решили проверить всех. Мы строем прошли по городу. В поликлинике нас осмотрели, прослушали и сделали рентген. Врач нашел, что с легкими у меня все благополучно и сердце хорошее.

Так прошли октябрь и ноябрь 42-го года. Чувствовать себя я стал получше. Работа, выполнявшаяся мной и моими товарищами, была вполне посильной. В конце ноября стало известно, что полк переводится в другое место.

В начале декабря в течение нескольких дней имущество полка было погружено в железнодорожные вагоны, и мы отправились в путь. Через несколоко дней пути утром, проснувшись, мы открыли двери своего товарного вагона. Поезд стоял. Было тепло и солнечно. Маленькая станция, небольшой поселок. С пригорка спускались несколько мужчин, распевая песню. Меня поразили их красивые голоса. Я уловил в мелодии итальянские напевы и сказал моим товарищам: "Кажется, мы в Италии". Такой была встреча с этой страной.

К концу дня мы были в Неаполе. Имущество штаба было сразу же погружено на грузовики, мы взгромоздились на один из них, колонна двинулась и медленно проехала через весь город в морской порт. Было еще светло, я с интересом рассматривал красивые улицы, толпу прохожих - все было внове. Ночь мы провели на причале под открытым небом. На другое утро пришвартовалось большое итальянское грузовое судно, и началась погрузка.

Нам объявили, что повезут в Северную Африку, и я призадумался. Мы знали, что в Северной Африке открыт фронт,

что немцы воюют там с объединенными силами англичан и французов. Это давало шанс на побег. В границах Германии побег был обречен на неудачу. В Вильдау было несколько безрезультатных попыток, я знал об этом. Но здесь мысль о побеге появилась и уже не уходила.

По окончании погрузки дня два прошло в ожидании отплытия. Мы были свободны от каких-либо работ и могли прогуливаться по той части причала, к которой было пришвартовано судно. Подразделением немецких автоматчиков командовал лейтенант - молодой парень с грубой, тупой физиономией. Он часто сидел на причале, злобно посматривая на пленных. И произошел такой случай. Лейтенант неожиданно подзывает меня, достает сапожную щетку и приказывает почистить ему сапоги. Я оторопел. Он вынул револьвер и пригрозил мне. При всей его тупости он сумел высмотреть среди пленных человека, для которого унижение будет особенно болезненным. Все окружающие - итальянские матросы, пленные и даже немецкие автоматчики - замерли. Мне тяжело писать об этом, но я решил ничего не утаивать. Я почистил ему сапоги. Это был единственный случай, когда унизили меня лично. Но общее унижение русских пленных я ощущал все время.

* * *

13 декабря 1942 года в середине дня два больших итальянских парохода отошли от причалов неапольского порта и взяли курс в открытое море. Средиземное море было спокойно. Его просторы, ярко синий цвет воды, свежий морской воздух - все это очаровывало.

Часы и дни шли своей чередой, все было спокойно, солнце пригревало, большинство пленных лежали под машинами на палубе. Я расположился на металлических плитах, на которых была установлена лебедка. Внезапно все вокруг меня взметнулось вверх и тут же рухнуло вниз. Я мгновенно понял, что судно торпедировано, хоть и не слышал звука взрыва. Ни малейшего страха я не испытывал, мысль работала быстро и точно: надо, не теряя ни секунды, покинуть корабль. Зрение зафиксировало, что деревянное покрытие палубы с автомашинами и лежавшими под ними людьми рухнуло вниз. Но часть палубы, покрытая металлическими плитами, и лебедка повреждены не были. Я стоял на твердой почве. Сбросил деревянные башмаки, проверил крепление спасательного пояса, подбежал к правому борту - он был ближе - и заглянул вниз. Внизу все пылало: судно окружала вода, покрытая горящим мазутом. Я дрогнул, показалось, что выхода нет, что я в западне. Отступил на шаг от борта. Что предпринять? Через несколько секунд снова смотрю вниз.

Пылающая вода осталась позади, судно не потеряло хода и вышло из пламени. Путь открыт. Вижу, что итальянские матросы прыгают в воду. Надо прыгать и мне. Но подо мной высота четырехэтажного дома. Справлюсь ли я с таким прыжком, если никогда не прыгал в воду с высоты больше одного метра. Взгляд направо, взгляд налево - и вдруг замечаю в двух метрах от себя металлический трос, свисающий до самой воды. Хватаюсь за трос, перекидываюсь через борт, спускаюсь вниз, все идет отлично, до воды остался один метр. Оттолкнувшись от корпуса ногой, бросаюсь в воду и быстро плыву дальше, дальше от еще движущегося судна.

Отплыв достаточно далеко, осмотрелся. Вокруг плавали всякие обломки, выброшенные взрывом. Запомнилась морская фуражка с высокой тульей, покачивавшаяся на воде. Довольно много людей. Второе судно каравана продолжало путь, не останавливаясь, и было уже далеко.

Я невольно стал наблюдать за нашим пароходом. Он еще медленно двигался. Но вот начала погружаться в воду его носовая часть и приподниматься кормовая, вот носовая часть уже под водой, возвышается только корма, наклон увеличивается, судно принимает почти вертикальное положение и стремительно погружается в воду. Несмотря на всю драматичность моего положения, я не мог отвести глаз от этой картины - она завораживала и навсегда осталась у меня в памяти.

Я увидел невдалеке деревянную бочку с веревочными поручнями, за которые держались люди. Подплыл к ним и тоже схватился за поручень. Это уже давало какую-то надежду на спасение. Через некоторое время заметил в стороне большой плот, на котором были люди. Я дотронулся до одного из тех, кто держался за поручни бочки и показал ему на плот. Это был итальянский матрос. Он сначала не понял меня и дрожащей рукой (он весь дрожал - то ли от холода, то ли от пережитого), вынул из кармана штанов большой мокрый сухарь и протянул мне. В тот момент я не оценил этого жеста, но позднее вспоминал о нем с теплым чувством. Итальянец все же сообразил, в чем дело, и все мы (нас было четверо), продолжая держаться за поручни, подгребли к плоту и перебрались на него.

Прошло часа два или три, вдали показалось небольшое судно. Оно приблизилось и стало подбирать плавающих людей. Подошло и к нашему плоту. Это было итальянское судно. Нам сбросили канат, и люди стали один за другим взбираться на борт, на высоту, примерно, двухэтажного дома. И тут впервые слабость сковала меня, я потерял уверенность в себе и не решался подойти к канату. Только когда остался на плоту один - все были уже

наверху, заставил себя взяться за канат, стал подтягиваться, но потерял сознание и упал на плот.

Очнувшись, обнаружил, что лежу на полу, очевидно в матросском кубрике, на носилках, под головой подушка. На мне сухая одежда - брюки, рубаха, обе руки до локтя и голова забинтованы (как потом выяснилось, я успел получить довольно сильные ожоги, пока решал, как мне покинуть горящее судно). Понемногу стал вспоминать, что со мной произошло, и понял, что мог попасть на судно только потому, что после того, как потерял сознание, кто-то из матросов спустился на плот, обвязал меня канатом, и меня подняли. Мало того, переодели в сухую одежду и оказали медицинскую помощь, хотя на моем кителе стояли буквы SU.

Судно шло полным ходом, его сильно качало. Шум двигателей сливался с храпом спящих людей. Я лежал с ощущением свершившегося чуда, чуда возвращения к жизни.

И вот раннее утро. Судно пришвартовалось, люди стали покидать кубрик. Меня на носилках выносят на берег. На набережной стояло несколько машин "Скорой помощи". В одну из них положили меня. Какое-то время в пути. Машина останавливается, меня вносят в дом. Небольшая светлая комната - стол, стулья, шкафы. Опускают на пол и уходят. В томительном ожидании я пролежал довольно долго. Неожиданно вошел немецкий офицер из штаба зенитного полка, плывший с нами на затонувшем судне. Он уже в полной военной форме. Узнает меня и радостно приветствует. Нас уравняло пережитое. Он кладет мне на грудь несколько мандаринов и уходит. Я снова остаюсь один. Но, наконец, входят люди, меня выносят из дома, несут к другому зданию. Лестница, второй этаж, комната, где стоят несколько кроватей. Меня переодевают в пижаму, дают пару домашних туфель, помогают лечь на кровать. Тюфяк, чистое постельное белье, подушка, одеяло.... Было 16 или 17 октября 1942 года.

Вскоре привезли и поместили в ту же комнату двух моих товарищей Ивана, о котором я уже писал, и Андрея. Оба были вместе со мной в Цейце при штабе полка. У Ивана легкие ушибы, у Андрея сильная травма правой ноги. Он не мог ходить, его внесли.

* * *

Мы находились в немецком госпитале на острове Сицилия в небольшом городке Трапани на западном побережье острова. Нас приняли на излечение, и мы были во всех отношениях приравнены к находившимся в госпитале раненым немцам. Персонал относился к нам с необходимым вниманием, мы получали такое же питание, что и немцы. Только поместили нас

отдельно от них.

На каждом этаже дежурили санитар и сестра милосердия. На нашем, втором этаже, санитаром был Карл - толстый приземистый немец, добродушный и приветливый, он часто заходил в нашу комнату посидеть, отдохнуть. Лечащим врачом был доктор Мюллер (из Мюнхена), у которого всегда находилось доброе слово для каждого из нас. При первом же обходе доктор сказал, что мои ожоги не опасны и недели через две я буду здоров. Но первые несколько дней я чувствовал себя скверно. Сильные отеки рук и лица, глаза заплыли, приходилось их раздвигать руками, чтобы что-то увидеть. Температура была высокой, жжение мешало спать. У Андрея обнаружился нехороший перелом, и ему ампутировали правую ногу до колена. Легче всех отделался Иван, через неделю он был уже вполне здоров.

На оба этажа была одна уборщица - итальянка Клаудиа, женщина лет пятидесяти. Ее закуток находился на нашем этаже. Очень скоро мы стали друзьями.

Наступил 1943 год. 31-го декабря мы получили бутылку хорошего красного вина и распили ее. Я к этому времени практически выздоровел.

Пока мы были на положении лежачих больных, пищу нам приносили в комнату. С начала января мы с Иваном уже сами ходили на кухню за едой. На кухне велся учет выдаваемой пищи (госпиталь был большой). Учетчицей работала немка - миловидная блондинка лет сорока пяти. Она очень дружелюбно нас встречала, всегда находила для нас приятные слова. Но месяца через два, придя за едой, мы не увидели ее за обычным столиком, учет вел один из поваров. Так продолжалось и все последующие дни. Через некоторое время Карл рассказал нам, что эта женщина была арестована в тот момент, когда зарисовывала расположение береговых укреплений, она была агентом англо-американской разведки. Мы вспоминали о ней с уважением и грустью.

Время шло. Я понимал, что для нас с Иваном пребывание в госпитале подходит к концу - мы здоровы. Что ожидает нас? Очевидно, отправка в Германию, в лагерь для военнопленных. Неожиданная развязка наступила в середине января. Во время очередного обхода доктор Мюллер объявил мне, что нас с Иваном решено оставить при госпитале. Мы будем помогать палатным санитарам ухаживать за ранеными. Это было подарком судьбы.

Такое решение могло быть принято только начальником госпиталя. Но он нас в глаза не видел и сделал это, очевидно, по ходатайству доктора Мюллера, человека просвещенного и

гуманного, прекрасно понимавшего, что ожидает нас в Германии, в лагере для военнопленных, и не желавшего нам зла.

Клаудиа скоро стала относиться к нам, как к родным, сказывался итальянский характер. Она терпеть не могла немцев, и это было свойственно большинству простых итальянцев - я не раз убеждался в этом. Разговор с Клаудией шел на французском языке, в средней школе я изучал его, кое-что в голове осталось, и день ото дня приумножалось. Почти каждый день она приносила нам пакет с мандаринами. Кроме того, мы получали мандарины и от госпиталя, так что за несколько месяцев моего пребывания в Трапани я прошел основательное витаминное лечение.

* * *

Военные действия в Северной Африке начались в 1940 году, и первые два года перевес был на стороне Германии. Немецкие войска захватили Алжир, Французское Марокко и стали продвигаться по побережью Средиземного моря на восток, тесня английские войска. Немцы дошли до Египта и заняли часть его территории (хотя Египет в войне против Германии не участвовал).

На подступах к Александрии наступление немцев было остановлено, и фронт стабилизировался. В октябре 42-го года английская армия под командованием генерала Монтгомери перешла в наступление, прорвала фронт немецко-итальянских сил и добилась перелома в общем ходе военных действий. Тогда же войска союзников неожиданно высадились в Алжире и Марокко и вытеснили немцев из этих французских колоний. Началось наступление союзников как с востока, так и с запада, и закончилось это тем, что остатки немецко-итальянских войск были окружены на полуострове Бон в Тунисе и 13 мая 1943 года капитулировали. Но к тому времени, когда я оказался в Трапани, война в Северной Африке была еще в разгаре.

2-го февраля 43-го года в Сталинграде капитулировала армия Паулюса. В Германии был объявлен трехдневный траур. Черные повязки на левый рукав надел и весь персонал госпиталя. Как-то раз, в начале марта старший санитар, обычно очень сдержанный, вдруг попросил меня выйти с ним в коридор. "Как, по-твоему, может ли Германия проиграть войну?" - спросил он меня вполголоса. Я ответил с осторожностью - мол, ясности еще нет, но положение, безусловно, сложное. Он продолжал: "Один из моих друзей, медик, высказал мнение, что через несколько ходов Германия получит мат. Так ли это?" Я ответил, что это очень похоже на правду. Санитар помрачнел и неожиданно доверительным тоном проговорил: "Я этого не переживу. Во всяком случае, если и останусь жив, в побежденную Германию не

вернусь".

Вспоминается интересный штрих. Я заметил, что слушая по радио последние известия, раненые смеются. Сначала я не мог понять, в чем дело, стал внимательно вслушиваться, и выяснил следующее: во время передачи последних известий на ту же волну подключалась радиостанция союзников, и каждое сообщение немецкого диктора сопровождалось кратким ироническим и, надо полагать, остроумным комментарием, подающим в другом (ясно, что противоположном) свете сообщаемую новость. Немцы от души смеялись, и никто не требовал выключить приемник. Это говорило о многом.

Однажды Клаудиа сказала, что ее семья очень хочет взглянуть на русских, не возражаем ли мы против встречи. Конечно, у нас возражений не было. Договорились о дне, и к нам пришли дочь Клаудии с мужем - солдатом итальянской армии - и внучка, девочка лет десяти. Разумеется, была и Клаудиа. Они принесли две бутылки хорошего вина и много фруктов. Мы расположились в нашей комнате, нам никто не мешал, и провели больше часа в дружеской беседе.

После этой встречи у меня возник такой план: поскольку немцы проигрывают войну в Африке (в чем я уже не сомневался), можно было ожидать, что в недалеком будущем госпиталь будет эвакуирован. Этим надо воспользоваться и скрыться, заранее договорившись с Клаудией, чтобы она подыскала мне приют до прихода на остров союзников. Я был уверен, что Клаудиа пойдет на это. Настроение у меня улучшилось, появилась цель.

* * *

В начале мая доктор Мюллер уехал в отпуск, и его заменил другой врач. Это был совсем иной человек. Резкий, грубый, общение с ним во время обхода было неприятным. Правда, Карл сказал нам, что он держится так и с ранеными немцами. В один из майских дней, когда я после обеда сидел с Клаудией у нас в комнате, вошел Карл и сказал, что мне велено через полчаса быть с вещами внизу - врач, заменявший Мюллера, выписал меня из госпиталя. Это был гром среди ясного неба.

Я собрал свои "вещи" (кусок мыла, бритвенные принадлежности) и стал прощаться. Клаудиа обливалась слезами. Я крепко пожал руки Ивану, Андрею и спустился вниз - как был - в больничной пижаме, в домашних туфлях. Внизу уже стояли человек десять выписанных из госпиталя немцев. Они были не из моей палаты и не знали, кто я. Подошел пикап, все уселись, и минут через двадцать мы въехали на военный аэродром. Нас ожидали и сейчас же посадили в маленький самолет.

* * *

Полет продолжался около трех часов. Стало смеркаться. Я увидел далекий берег, затем различил большой город. Самолет набрал высоту и стал заходить на посадку. Это был Неаполь. Мы вышли, нас встретили, провели в аэровокзал и велели ждать. Ожидание было долгим, совсем стемнело. Но вот за нами приехал пикап, и вскоре мы уже входили в большое трехэтажное здание. Огромный зал на втором этаже был почти вплотную уставлен кроватями. "Ищите свободную койку и ложитесь", - сказали нам. Я был удивлен: все прибывшие были в военной форме, я в своей пижаме выделялся среди них, однако меня не отделили от группы, не изолировали.

На другое утро осмотрелся. В зале жили немецкие солдаты. Оружия при них не было. На меня никто не обращал внимания. Вместе с другими я решился пройти в столовую, которая находилась в подвальном помещении, и получил еду. Это повторилось в обед и в ужин. Я был озадачен. Так прошел второй день. На третий ко мне подошел человек в штатском, велел идти в цейхгауз и получить одежду. Я не сомневался, что меня готовят к отправке в лагерь. Но в цейхгаузе мне предложили форму немецкого солдата. Это меня ошеломило. Я стал понимать, что меня принимают за служащего в немецкой армии, и попросил разрешения придти через полчаса. Надо было принять решение: сказать, кто я на самом деле, и обречь себя на отправку в лагерь для военнопленных, то есть на более чем вероятную гибель, либо замаскироваться хотя бы на время, чтобы выждать, разобраться в обстановке. И я принял второе решение.

Облачившись в немецкую форму, я затаился в ожидании дальнейших событий, спускался из зала только в столовую. Мне выдали пропуск и сказали, что я могу выходить в город, но я об этом не помышлял, чувствовал себя крайне неуверенно, полагая, что ошибка вот-вот обнаружится. Так прошло несколько дней. У меня завелись знакомства. Мой сосед по койке сказал, что немецкая армия в Северной Африке капитулировала. "Германия проигрывает, добавил он. - Во избежание дальнейших человеческих потерь надо искать возможность прекратить войну".

И вдруг меня вызывают в медицинскую комиссию. Врачи спросили, что со мной произошло, как я себя чувствую, прослушали легкие, сердце, завели на Бориса Пейко карточку и, посовещавшись, объявили, что меня направляют в санаторий в Сан-Ремо. О дне отъезда сообщат дополнительно.

Стало ясно, что меня действительно принимают за военнослужащего немецкой армии. Далее выяснилось, что в Германии действует правило: каждый раненый немец по выздоровлении направляется на месяц в санаторий, а здание, в

котором я нахожусь, это гостиница для выздоравливающих солдат, они ожидают здесь отправки на отдых. Еще раз обдумав сложившуюся обстановку, я решил сохранить свою маскировку, принять те блага, которые открылись для меня. Что будет дальше и чем все это обернется - неизвестно, но не следует пока об этом думать.

Я стал каждый день после завтрака выходить в город и до обеда бродил по улицам, иногда один, иногда с кем-либо из моих новых знакомых.

На улицах города часто встречались немецкие солдаты и офицеры, нередко можно было видеть женщин в немецкой военной форме. Однажды, когда я спокойно прогуливался, шедший навстречу военный внезапно остановил меня и принялся в повышенном тоне распекать. По погонам я разглядел, что он в чине фельдфебеля. Я встал в стойку "смирно", смотрел ему прямо в глаза и соображал, в чем же дело, повторяя время от времени слово "Jawohl". Дело, оказалось, в том, что я, рядовой, не отдал ему чести. Я забеспокоился, понимая, какой подвергаюсь опасности. Если он потребует у меня документы или вздумает отправить на гауптвахту, моя маскировка провалится и можно ожидать больших неприятностей. Но, наоравшись, он меня отпустил. С тех пор я стал внимательно вглядываться во встречных военных.

* * *

В один из дней в конце мая 43-го года ранним утром группу людей, в том числе и меня, отвезли на железнодорожный вокзал. Накануне всем отъезжающим выдали деньги - солдатское жалованье. Получил деньги и я - отказываться было нельзя, чтобы не выйти из роли. Железная дорога от Неаполя до Сан-Ремо почти все время вьется вдоль берега моря. Слева синело Тирренское море часть Средиземного, справа тянулись предгорья Апеннин. Мы проехали ЧивитаВеккио, Ливорно, Пизу, Специю. И вот я в Сан-Ремо.

Четырехэтажный комфортабельный отель на окраине Сан-Ремо был арендован немецким командованием и превращен в санаторий. Меня вместе с двумя немцами поместили в просторную комнату на третьем этаже. С соседями мне повезло: один из них был австриец Петер, человек моего возраста, второй - Людвиг, немец из Берлина, лет двадцати пяти. Сначала они отнеслись ко мне настороженно, но время шло, и мы мало-помалу сблизились. С Петером я даже подружился, и вскоре мы говорили друг с другом совершенно откровенно. Петер был антифашистом, он относился к немцам с неприязнью, не мог забыть и простить аншлюс 1938 года. Я признался ему, что я военнопленный, по

ошибке принятый за военнослужащего немецкой армии. Он одобрил мое решение замаскироваться. "Германия проигрывает войну, тебе надо продержаться и выждать момент, когда ты сможешь пробраться к союзникам, а потом и к своим", - говорил он.

С Людвигом отношения у меня были хорошие, но менее доверительные. Он был из интеллигентной зажиточной и религиозной семьи. В разговорах с нами, - очевидно, отражая взгляды своего окружения, - резко критиковал Гитлера за преследование церкви и вообще считал, что власть в Германии захватили плебеи.

Я пробыл в Сан-Ремо до середины июля. О том, что я русский, знали уже все, с кем мне пришлось контактировать и, конечно, администрация санатория. Тем не менее, никто ни разу не пытался выяснить, почему я в немецкой форме. Могу высказать следующее предположение.

При отправке из госпиталя в Неаполь меня наверняка сопровождал какой-то документ, в котором указывалось, кто я. При отправке из Неаполя в Сан-Ремо документ такого рода, надо полагать, также сопровождал меня. В какой-то из этих документов вкралась ошибка: либо напутали в госпитале, либо в Неаполе невнимательно прочли полученную из госпиталя сопроводиловку. Как бы то ни было, появилась бумага с подписями и печатью, в которой я был представлен как солдат немецкой армии. И эта бумага оказывала магическое действие: никому из немцев не могло придти в голову, что документ ошибочный, что немецкий порядок дал осечку. Слепое уважение к документу часть немецкой натуры. Это и определило отношение ко мне администрации различных уровней. Что же касается простых солдат, с которыми я повседневно общался, то каждый из них был озабочен собственной судьбой, и я не вызывал у них особенного интереса.

Я вписался в распорядок жизни санатория, дни потекли спокойно и однообразно. На каждом спальном этаже была горничная. На нашем этаже работала итальянка лет сорока. Однажды я заговорил с ней по-французски, она удивилась и на хорошем французском спросила, откуда я знаю этот язык. Разговор начался. Я признался ей, что я русский. Это поразило ее, и в дальнейшем она была со мной очень приветлива. Из разговоров выяснилось, что жизнь в Италии нелегкая. У меня хлеб оставался, и я смог приблизительно раз в три дня отдавать ей целый батон. Она часто приносила мне фрукты из своего сада. "Итальянцы терпеть не могут немцев", - слышал я от нее много раз. Я начал подумывать о том, не сможет ли она укрыть меня и

затем помочь добраться до Швейцарии, и выжидал подходящей минуты, чтобы заговорить с ней об этом.

По субботам и воскресеньям на большой веранде отеля давались концерты. Приходили итальянские музыканты - пианист, скрипач и певец - баритон или тенор. Иногда пели под гитару.

Мы с Петером почти каждый день гуляли по городу, иногда к нам присоединялся и Людвиг. Самым примечательным было то, что я много играл в шахматы. Я вообще из шахматной семьи, но играл значительно слабее, чем отец и брат. Перед войной несколько лет вообще не подходил к шахматам, а вот в Трапани довелось много играть, что восстановило мою форму. В санатории игра в шахматы процветала. Сложилась компания любителей, ежедневно отдававших игре много времени. Я нередко наблюдал за ними, и однажды они предложили мне сыграть. Я выиграл две партии у одного и еще две у другого. На меня посмотрели с удивлением - мол, русский, а играет неплохо. На другой день мне снова предложили сыграть, и я опять сыграл успешно, чем вызвал уже чувство уважения. Мне предложили сразиться с лучшим игроком этой команды, с чемпионом, так сказать. Через два дня встреча состоялась. Первая партия закончилась вничью, вторую я выиграл. Это была сенсация, я стал "местной знаменитостью", приобрел много новых знакомых. "Тебе надо сыграть со здешним зубным врачом, - говорили мне. - Он очень сильный игрок".

Игра вскоре состоялась в гостиной отеля, где по вечерам собирался народ выпить бокал вина, послушать радио. Зубной врач был в офицерской форме. Он был немного старше меня, приятной внешности, держался любезно. Мы сели за стол. По его заказу принесли бутылку красного вина и два бокала для него и для меня. Уже зная, что я русский, он поинтересовался, откуда я. Я ответил:

- Из Москвы.

- Вот как! - произнес он и в тот вечер больше не задал мне ни одного вопроса.

Первую партию я проиграл, вторая закончилась вничью.

- Вы неплохо играете, - сказал он. - Надеюсь, что мы еще встретимся.

Так началось мое новое знакомство. Мы сыграли с ним немало партий, и я нередко у него выигрывал. Часто говорили на общие темы, и постепенно оба мы становились все более откровенными. Он говорил мне, что не разделяет учения о превосходстве немецкой нации над всеми остальными, а массовое уничтожение евреев считает преступлением.

Вскоре мы стали встречаться в комнате, где он жил. Петер, узнав об этом, воскликнул: "Эге-ге, не каждого солдата приглашают в гости к офицеру!" А потом я стал и пациентом этого врача - у меня разболелся зуб, и он поставил мне пломбу.

Для того чтобы выписать солдата из санатория, требовалась виза врачей всех специальностей. И когда срок моего пребывания в Сан-Ремо близился к концу, мой новый знакомый сказал мне, что пока не дает визы на мою выписку, хочет предоставить мне возможность пробыть в санатории еще восемь-десять дней.

Среди персонала отеля был пожилой итальянец - то ли электрик, то ли водопроводчик, - не помню. Он каким-то образом узнал, что я русский, и часто подходил ко мне потолковать о том о сем. Однажды он предложил мне провести вечерок у его друга.

- Нам будет интересно поговорить с вами, - сказал он. Я, подумав, согласился. Договорились встретиться после ужина. Он предупредил меня:

- Нам не следует идти вместе. Я пойду впереди, а вы следуйте за мной.

Меня это в какой-то степени насторожило, но возражать я не стал.

И вот я иду за ним. К своему удивлению, замечаю, что впереди моего итальянца в том же направлении идет знакомый немец. Поясню, при каких обстоятельствах я с ним познакомился. Ежедневно из числа отдыхающих назначался дежурный по санаторию, который следил за поведением обитателей дома. Дежурными всегда были старшие по званию. Одной из их обязанностей было наблюдать за приходом в столовую. Опоздавших дежурный, сидевший за отдельным столиком, публично распекал. Однажды я опоздал. Войдя в зал, направился было к своему столу, но дежурный подозвал меня и раздраженным тоном начал мне выговаривать. Кто-то из сидевших близко сказал ему: "Не кричи, это же русский, он плохо тебя понимает". Дежурный замолк, внимательно посмотрел на меня и, улыбнувшись, отпустил. Именно этот человек и шел сейчас впереди. Он был в чине фельдфебеля.

Мы дошли до какой-то узенькой улочки, вошли в небольшой одноэтажный домик. Собралась компания - мой итальянец, его друг, немец и я. Мы обменялись рукопожатиями. На столе - бутылка вина и фрукты. Все дальнейшее поразило меня. Это была встреча противников итало-немецкого фашизма, почувствовавших приближение его конца и радовавшихся этому. Как они нашли друг друга - не знаю. Откровенный разговор захватил всех. Я сначала опасался провокации, но скоро отбросил сомнения и отдался теплому чувству я среди единомышленников.

Обсуждался вопрос о наметившемся поражении Германии, каждый высказал свои суждения на этот счет, и все пришли к выводу, что оно неизбежно, хотя война, вероятно, продлится еще немало времени. Поделились мы и мыслями о собственной судьбе. Я рассказал о своем плане пробраться в Швейцарию. "Не советую тебе это делать, - сказал немец. - Ты будешь там интернирован и застрянешь до конца войны. К тому же не исключено, что тебя там выдадут немцам, такие случаи известны. Если хочешь скорее вернуться на родину, пробирайся на юг Италии, ближе к линии фронта, и там ищи возможность перейти ее".

В отель вернулись поздно ночью. Шли раздельно.

И вот подошло время прощаться с Сан-Ремо. Перед выпиской каждый прошел медицинскую комиссию. Согласно тому же правилу выздоровевший солдат после отдыха в санатории имел право на двухнедельный отпуск, чтобы повидаться с семьей. Меня осматривали два молодых врача. "Вы из России? Какая страна! воскликнул один из них. - Какие пространства! Они завораживают, человек начинает ощущать свое ничтожество". После чего мне с улыбкой объявили, что отправить меня в отпуск в Москву возможности нет, так что придется возвращаться в часть.

Накануне отъезда меня вызвали в канцелярию, выдали сопроводительную бумагу и билет до Неаполя и сказали: "В Неаполе явишься в военную комендатуру, адрес указан в сопроводиловке. Получишь там справку, где сейчас твоя часть и как до нее добраться". Я призадумался: мне не были известны ни номер, ни названия "моей" части, как же я буду ее разыскивать? Однако, заглянув в полученную бумагу, я увидел, что номер части там имеется.

В комендатуре Неаполя мне сказали: "Твоя часть на острове Сардиния. У меня отлегло от сердца. - Надо ехать в Ливорно и там ждать отправки на остров".

Я пообедал в комендантской столовой, погулял по Неаполю - и снова поезд.

* * *

В "моей" части на Сардинии встретили меня радушно. Офицеры посмеялись, увидев на мне военную форму. "Какие только не случаются ошибки!" воскликнули они. "А тебе идет наша форма", - пошутил один из них.

Меня переодели в штатское, сказали, что оставляют при штабе. "Поработаешь на кухне" - и я стал кухонным мужиком.

* * *

Был июль 1943 года. Мне исполнилось 36 лет.

Во второй половине июля пришло распоряжение о переводе полка на Корсику. Сборы были недолгими, и вот мы уже на берегу пролива Бонифачо между Сардинией и Корсикой. Большое скопление машин, повозок, орудий, длинная очередь к пристани, суета, ругань. Было ясно, что немецкая армия отступает. Несколько раз объявлялась воздушная тревога, и люди прятались в ближайших перелесках.

Два-три дня мы прожили возле небольшого городка Порто-Веккио на восточном побережье Корсики, а затем штаб перевели немного севернее. Это было чье-то имение на берегу моря. Барский дом заняли офицеры и службы, остальной персонал разместился в палатках на опушке подступающего к берегу леса. А мне поставили койку под открытым небом, - правда, при этом было сказано, что в случае дождя я могу придти в палатку к поварам.

Уклад моей жизни не изменился. Завхоз по-прежнему брал меня в поездки. Несколько раз мы побывали в близлежащих деревнях, где он закупал мясо и овощи. Как-то раз в одной из деревень, не помню точно при каких обстоятельствах, я обнаружил русского. Это был бедно одетый старый человек. Оказалось, что передо мной эмигрант первой волны, кубанский казак, сражавшийся в рядах белой армии. Судьба занесла его на Корсику. О себе он сообщил мало, пожаловался на бедность. Я спросил, не может ли он помочь мне где-нибудь укрыться до прихода союзников и получил отрицательный ответ. "У меня мало знакомых, относятся ко мне плохо, взять тебя к себе не могу, заметят соседи, да и прокормить тебя я не в состоя- нии", - сказал он.

В начале августа я заболел малярией, меня отвезли в Бастию и положили в немецкий госпиталь.

Проболел дней десять, чувствовал себя уже хорошо. Я предполагал, что меня отправят обратно в штаб. Но неожиданно был вызван к главному врачу госпиталя. Он спросил, как я себя чувствую, откуда я, кто по специальности. "Мы можем оставить вас при госпитале. Как вы на это смотрите?"

И я снова превратился в кухонного мужика. Везение не покидало меня.

На кухне работали двое: немецкий повар и француз, местный житель, работавший по найму. Как потом выяснилось, он до прихода немцев имел в городе закусочную и умел хорошо готовить.

Немец принял меня крайне недружелюбно - русский военнопленный был для него врагом. Но он заметил, что главный врач относится ко мне хорошо, и поэтому старался держать себя

корректно. С французом у меня сразу установились прекрасные отношения. От него я узнал, что Сицилия занята союзниками, что союзные войска уже высадились в Сардинии и освобождение Сардинии и Корсики вопрос ближайших недель.

3 сентября 1943 года в Италии произошел переворот, Муссолини был свергнут, новое правительство подписало акт капитуляции. Вечером того же дня взволнованные немцы слушали по радио выступление Гитлера, который назвал итальянцев предателями и объявил о начале оккупации Италии немецкими войсками. Обстановка резко изменилась. Вчерашние союзники - немцы и итальянцы стали врагами. Уже на другой день, 4-го сентября, я наблюдал за атакой итальянских торпедных катеров на немецкие суда, стоявшие на рейде. Одно судно было взорвано. В тот же день два немецких транспортных самолета, летевшие вдоль берега на небольшой высоте, были обстреляны итальянской береговой артиллерией. Итальянцы стали хозяевами положения потому, что ни в городе, ни в его окрестностях немецких воинских частей размещено не было, и все основные позиции были заняты итальянскими вооруженными силами. Город оказался как бы в антинемецкой зоне. Порт, находившийся под управлением немцев, и немецкий госпиталь попали в изоляцию. Француз - мой источник информации - уже несколько дней не выходил на работу, и я не знал в точности, как обстоят дела за пределами госпиталя.

Наступило 5 сентября - знаменательный для меня день.

Я прошелся по палатам. Всюду шли взволнованные разговоры, лица были напряженные. Поймал на себе несколько злобных взглядов. Стало ясно, что момент, которого я ждал, приближается, надо готовиться к решительным действиям.

Вышел на лестничную клетку и увидел, что какой-то человек в штатском с автоматом в руках поднимается в сопровождении старшего санитара на верхний этаж, где находился кабинет главного врача. Главный врач ожидал посетителя на лестничной площадке. Как я впоследствии узнал, человек в штатском был представителем Временного комитета по управлению городом, заменившего после капитуляции Италии пронемецкую мэрию. Приблизительно через час было объявлено, что госпиталь эвакуируется. Ко мне подошел знакомый санитар, с которым я неоднократно беседовал по-немецки, и сказал (почему-то на ломаном французском), что достигнуто соглашение о беспрепятственном выезде госпиталя из Бастии в расположение немецких частей и чтобы я собирался в дорогу, а продуктами на ближайшее время обеспечил себя сам.

Несколько последних дней я откладывал в тайник баночки с консервами и теперь первым делом переложил их в карманы брюк. Затем осмотрелся. Обнаружил, что на втором этаже у окон стоят автоматчики, по одному с каждой из четырех сторон дома, наблюдающие за подходами к дому и, очевидно, готовые в случае

необходимости открыть огонь. В возникшей суматохе на меня никто не обращал внимания. Мозг лихорадочно работал - какой план действий предпринять? Спрятаться в доме, где множество темных закутков? Залечь в заброшенном, заваленным всяким мусором саду позади дома? Выглянул в окно на двор, который примыкал к улице. Двор был пуст, все поглощены сборами. Заметил, что около ворот охраны нет, - вероятно, немцы посчитали достаточным, что двор просматривается автоматчиками. От дверей дома до ворот было метров 75-100. Я сказал себе: момент наступил. Спустился вниз, вышел из дома и быстрым шагом направился к воротам. Будут стрелять или нет? Выстрелов не было. Беспокоила мысль - не заперта ли калитка на замок? Калитка была заперта на засов! Я легко отодвинул его и вышел на улицу.

Перед воротами стояли несколько вооруженных человек в штатской одежде. Это были французы - как потом выяснилось, бойцы партизанского отряда. Они блокировали вход в госпитальный двор. Я сказал: "Vive la France! Je suis russe, prisonnier de guerre" (Да здравствует Франция! Я русский военнопленный). Первая их реакция была настороженная. Меня обыскали - нет ли оружия. И сейчас же на их лицах появились улыбки, и я обменялся со всеми крепким рукопожатием.

Один из французов, старший в этой группе, повел меня по улице, спускавшейся к центру города. Стоял солнечный, теплый день. На улицах было много народа, веселые лица, улыбки. Людям казалось, что пришло долгожданное освобождение.

Было 5 сентября 1943 года. Кончился мой почти двухлетний плен! Сначала это как-то не осознавалось, казалось нереальным. Потом появилось ощущение, близкое к торжеству: во-первых, осуществился мой, так сказать, стратегический план; во-вторых, я удачно выполнил выбранный вариант побега из госпиталя и оставил с носом моих немецких недоброжелателей. Я не сомневался в том, что повар и некоторые другие немцы, бросавшие на меня в последние дни злобные взгляды, обнаружив мое отсутствие, с яростью разыскивали меня по закоулкам дома и прилегающей к дому территории. Но я уже сделал свои сто шагов к "линии фронта" и перешагнул ее.

Мне выдали итальянский трехзарядный карабин с запасом патронов и включили в группу, к которой я прибился сразу после побега из госпиталя. К сожалению, не помню имя ее командира, назову его Пьером. Появление русского было для всех, конечно, некоторой сенсацией, французы с любопытством отнеслись ко мне, но языковый барьер на первых порах препятствовал сближению.

В тот же день я участвовал в операции, целью которой был захват немецкого продовольственного склада в районе порта. В случае успеха необходимо было срочно вывезти продовольствие в горные деревни, малодоступные для немцев - таков был план.

В середине дня мы были на месте. Основные силы отряда скрытно подошли к складским помещениям, и скоро мы услышали пулеметную и ружейную стрельбу, разрывы гранат. Минут через двадцать-тридцать все затихло, и вспыхнула ракета - сигнал подавать машины. Все делалось быстро и слаженно. Машины, которые еще с утра стояли в укрытии, въехали на территорию склада, были загружены ящиками, картонными коробками и прочей тарой с продовольствием и одна за другой отправились в путь. Я сидел рядом с водителем одной из машин. Шоссейная дорога поднималась в горы. Внезапно раздались взрывы. Как потом выяснилось, один из немецких кораблей, стоявших на рейде, открыл огонь по дороге. Это было неожиданностью. Открытым для наблюдения с моря был участок дороги длиной метров пятьсот. Надо было его проскочить. Рассредоточившись, на максимально возможной скорости машины двинулись в путь. Из десяти машин разорвавшимся снарядом повредило только одну, водителя и бойца ранило. Шоссе было достаточно широким, и подбитая машина не блокировала движения. Отъехав от города километров пять, мы свернули на проселочную дорогу и вскоре были в деревне. Быстро разгрузились и поехали обратно. В один прием вывезти содержимое складов не удалось, пришлось нам вторично загрузить машину и снова совершить поездку в горы. Вернулись мы в город за полночь.

На другой день отряд вышел из города и занял позицию на склоне гор, контролируя въезд в Бастию с севера.

* * *

Для лучшего понимания дальнейших событий даю описание общей военной обстановки, сложившейся в регионе. Делаю это частично на основании моего собственного ее понимания на тот момент, частично на основании того, что мне стало известно впоследствии.

Северо-Африканская кампания завершилась в мае 1943 года капитуляцией остатков итало-немецких войск. Перед союзниками встали дельнейшие задачи захват островов, расположенных в Тирренском море, и высадка на юге Италии. В Сицилии англо-американские войска высадились в июле 1943-го и к началу сентября остров был полностью в их руках. 3-го сентября капитулировала Италия. 8-го сентября немцы начали оккупацию этой страны, а 9-го союзники высадились на юге Италии -

открылся новый фронт военных действий.

Немцы поняли, что удержать в своих руках Сардинию и Корсику они не в состоянии и начали отвод своих частей на континент. Задача была непростая: Сардиния, где располагались основные немецкие силы, не имела достаточно крупного порта, что позволило бы морем эвакуировать личный состав и военную технику. Не было на этом острове и аэродромов, которые могли бы принимать тяжелые транспортные самолеты. Для этих целей были пригодны только порт и аэродром, расположенные на Корсике в пригородах Бастии, что превратило город в важный, ключевой пункт всего плана вывода немецких войск с островов.

После капитуляции Италии, когда прежние союзники стали врагами, вывод немецких войск был заблокирован: Бастия оказалась в руках итальянцев. Немцы могли расчистить себе дорогу только силой. Для этой цели они срочно перебросили из Сардинии на Корсику крупные воинские части. Обе стороны готовились к бою.

Такова была обстановка к тому моменту, когда наш небольшой отряд занял позиции на склоне гор. В поле нашего зрения была северная окраина Бастии. Внизу, у подножия гор, проходило шоссе, ведущее на север Корсики, в горы и леса.

В середине дня началось бегство жителей из города. На Бастию надвигалась война. По шоссе двигался поток людей: шли женщины с детьми, толкая перед собой тележки с запасом продовольствия и одежды, шли семьями и поодиночке, богатые люди ехали на автомобилях, было много конных повозок. Запомнилась колоритная группа: молодые монахи вели под руки очень старого монаха, с трудом передвигавшего ноги. Все было залито солнцем.

На рассвете грохот артиллерийской канонады известил о начале сражения. Наш отряд, конечно, не мог принять в нем непосредственного участия из-за малочисленности, а также из-за того, что был слабо вооружен. Первую половину дня мы патрулировали улицы опустевшего города, чтобы не допустить возможного мародерства. К середине дня немцы приблизились к южным окраинам города, и мы отошли в горы. К вечеру стрельба стихла. Наша разведка выяснила, что итальянцы отброшены вглубь острова, Бастия в руках немцев.

Дня два после окончания сражения мы провели в ожидании, а затем по приказу командира заблокировали одну из лесных дорог, спускавшихся с гор на главное шоссе. Мы заняли выгодную позицию и вели наблюдение за дорогой. В один из последующих дней послышался шум моторов, и показалась группа немецких мотоциклистов, осторожно продвигавшихся по дороге. Мы

открыли огонь. Немцы быстро сманеврировали, залегли и открыли ответный огонь. Ожесточенная перестрелка продолжалась минут пятнадцать. Немцы отошли. У нас два бойца были ранены.

На другой день командир собрал всех и объявил, что отряд расформирован, надо сдать оружие и скрытно разойтись по домам. Я не знаю причин, из-за которых был ликвидирован отряд, но скорей всего командир исходил из общей оценки сложившегося положения: немцы открыли себе дорогу на континент, о Корсике уже не думают, их уход с острова - вопрос ближайших недель. Весь путь от пролива Бонифачо до Бастии забит отступающими частями, идущими непрерывным потоком. В этих условиях перспектив для успешных партизанский действий практически не было, да и смысл их утерян - уход врага с острова предрешен. Думаю, что решение командира было разумным.

Пьер, который все это время проявлял ко мне внимание и дружелюбие, подошел и сказал: "Ты идешь со мной, будешь жить у меня".

В лесу, вблизи той деревни, где была база отряда, вырыли яму, дно застелили сеном, сложили в яму оружие и прикрыли его ветками. Пьер сунул мне револьвер с запасом патронов. Каждый из нас получил по два бутерброда. Командир пожал всем руку и поблагодарил за службу. К концу дня мы отправились в путь.

В нашей группе, кроме меня, были Пьер, молодой парень - односельчанин Пьера и интеллигентного вида человек средних лет, которого я в отряде не замечал. Нам предстояло пройти около тридцати километров. Мы шли нехоженными тропами в обход деревень и поселков, поднимаясь все выше и выше, затем вышли на вершину безлесного и безлюдного горного хребта, который тянулся на север острова. Нашей целью был мыс Капо-Бьянко - самая северная часть Корсики.

В пути мы разговорились (в пределах моего скудного французского) с нашим интеллигентного вида попутчиком. Он стал расспрашивать меня о моем военном пути, о Москве. Этот человек оказался главным редактором прогрессивной корсиканской газеты, назову его Жаком. В дальнейшем он сыграл известную роль в моей жизни.

Мы шли едва заметными тропами по совершенно безлесной, безводной и необитаемой местности. Стало темнеть, продолжать путь было опасно. Была найдена небольшая ложбинка, защищавшая от ветра, и мы расположились на ночлег. Съели наши бутерброды, очень хотелось пить, но воды не было. У моих спутников нашлось несколько яблок. Это немного утолило жажду. Становилось прохладно. Мы легли, тесно прижавшись друг к

другу, укрылись, чем смогли. Ночь прошла спокойно. С рассветом двинулись дальше. Меня удивляло, как Пьер со своим односельчанином находили казалось бы неразличимые глазом тропы. Нам встречались дикие горные козлы, ничуть не боявшиеся людей. Один раз Пьер потерял продолжение тропы. Но впереди, в отдалении, стоял, наблюдая за нами, горный козел. В него бросили камень, он умчался и тем самым подсказал нам дальнейший путь.

Жажда томила все сильней и сильней. "Ничего, - успокаивал Пьер, скоро начнем спускаться, а там неподалеку будет родник". К концу дня начался спуск, стали появляться кустарники, затем отдельные деревья и, наконец, мы вступили в лес. Вот и горный родник.

Еще несколько километров - и Пьер сказал: "Стоп!" Мы расположились в лесу на густой траве, и только тогда я почувствовал, как устал. Пьер не решился засветло идти в деревню и послал на разведку своего односельчанина. Я мгновенно заснул. Часа через полтора наш парень вернулся, принес еду, фрукты, две бутылки вина. Нужно ли говорить, как это было кстати!

Стемнело. Мы вышли из леса, с опаской вошли в поселок, и вот перед нами дом с мансардой, двери которого гостеприимно распахнулись, нас встретили мать и сестра Пьера. Пахнуло уютом, покоем, забытой мирной жизнью. Но вопреки моим ожиданиям конспирация продолжалась.

На следующий день Пьер объяснил мне, что пока немцы на острове обстановка остается опасной, необходима осторожность. Два дня мы вместе с Жаком провели в мансарде, спускаясь три раза в день для еды. Дальше стало еще строже. Пьер сказал, что мне нельзя находиться в доме: заходят соседи и разные другие люди, могут увидеть. И я стал проводить день в сарае рядом с домом, а ночевать в двухэтажном флигельке, где на первом этаже хранились всякие сельскохозяйственные орудия и инструменты, а на втором была комнатка с тахтой и рукомойником.

Жак продолжал жить в доме, я встречался с ним за завтраком и ужином, и наша взаимная симпатия росла с каждым днем. Полагаю, что присутствие Жака в доме было менее опасным для хозяев - этому в случае чего можно было дать правдоподобное объяснение. Я же был фигурой опасной, и мое присутствие явно тревожило мать и сестру Пьера. Я чувствовал, что они не одобряют его гостеприимства, но Пьер продолжал относиться ко мне с прежним дружелюбием.

Напомню, что после захвата в 1940 году Корсики Гитлер передал остров своему союзнику - Италии. Итальянцы стали тут

хозяевами и установили свой порядок - жесткие законы военного времени. Большинство корсиканцев восприняли это как ненавистную оккупацию, но приходилось жить в новых условиях и при этом скрывать свои истинные чувства. А часть населения, пусть и небольшая, пошла в услужение итало-немецким властям, и власти опирались на эту прослойку в своей борьбе с инакомыслящими. В этой непростой обстановке надо было проявлять осторожность даже по отношению к своим соседям. В таких условиях семье Пьера довелось прожить несколько лет, и гнет страха, скрытности, настороженности еще не оставил их.

Однажды Пьер сказал мне: "В нашем поселке живет человек, у которого жена русская. Не хочешь ли встретиться?" - "Конечно, хочу", - ответил я. На другой же день Пьер сообщил, что договорился о встрече. В условленный день после ужина мы двинулись в путь. У каждого в кармане лежал заряженный револьвер. Пьер повел меня не по дороге, а через виноградники, покрывающие склон высокого холма. Ночь была теплая и беззвездная. Мы поднимались все выше и выше и наконец вышли на улицу, где за красивой оградой проступили в темноте очертания большого двухэтажного дома. Мы перелезли через ограду и осторожно подошли к дому. Света в окнах не было, но на одном из подоконников первого этажа горела свеча - это был условный знак: все благополучно, встреча может состояться. Мы открыли окно (так было условлено) и проникли в большую, слабо освещенную комнату. Я сел в удобное мягкое кресло, а Пьер вышел. Минут через пять в комнату вошла женщина и сказала: "Здравствуйте!"

Волнение охватило меня. Я около года не слышал русской речи. Передо мной стояла довольно высокая женщина моих лет, миловидная, хорошо одетая. Начался разговор. Вначале моя собеседница была сдержана, насторожена, но постепенно доверие ко мне возрастало. Я рассказал, откуда родом, кто по профессии, как попал в плен, о моем дальнейшем пути в плену, о родителях, о жене и дочке. В свою очередь, я узнал, что она дочь эмигранта, полковника царской армии, родившаяся в России и в детском возрасте увезенная во Францию, что муж ее - француз, художник, владелец парижской фирмы по оформлению интерьеров жилых домов и офисов, что они уехали из Парижа на Корсику в родовое имение мужа, так как не хотели жить в оккупированном немцами городе. Лед был сломан. Разговор стал дружеским, доверительным. Примерно через час в комнату вошел муж - человек лет пятидесяти, крупный, красивый, с живым взглядом и благородной осанкой. Моя собеседница сказала ему вполголоса, но я расслышал "Tres intelligent" (очень интеллигентен). Он

подошел ко мне, мы обменялись рукопожатием. Принесли вино, фрукты, различные сладости и общий разговор продолжился. Художник (так я буду его называть) расспрашивал о жизни в Советском Союзе, о репрессиях 37-го года, о причинах поражения Красной Армии в первые годы войны и прочем. Жена переводила вопросы и ответы. Подошел Пьер, и мы стали прощаться. "Немцы скоро уйдут и можно будет свободно общаться, мы вас ждем, до свидания", сказал художник. "Мы рады встрече с вами", - добавила его жена. Буду называть ее Елизаветой - таким, если не ошибаюсь, было ее имя. Домой мы вернулись часам к трем утра.

Эта встреча произвела на меня огромное впечатление. Я побывал в ином мире, сказочном для меня по тем временам. Уютная красивая комната, доброжелательные интеллигентные люди, проявившие ко мне большой интерес, общая атмосфера спокойного течения жизни. Но, как я сейчас вижу, главным, пожалуй, было то, что я имел возможность выговориться, не испытывая тисков языкового барьера, и немного освободиться от накопившегося за все это время ощущения одиночества, от постоянного нервного напряжения.

В один прекрасный день раздался звон колоколов. Спустя какое-то время дверь сарая отворилась, и мать Пьера пригласила меня в дом. Последний немец покинул Корсику! Был яркий солнечный день. Жители поселка выбежали из домов, все поздравляли друг друга.

Первым событием было создание мэрии, мэром поселка стал Пьер. Его семья торжествовала, я тоже поздравил Пьера. Однако никаких выборов не было. Позже художник и Елизавета назвали это захватом власти группой местных левых экстремистов. На острове уже находилась армия де Голля, но система управления еще не сложилась, и вопрос о власти на местах решался стихийно.

Следует отметить, что еще до ухода немцев семья Пьера получала из общественных продовольственных ресурсов продукты на меня и на Жака. Эти ресурсы были образованы из захваченных немецких продуктов и распоряжались ими бывшие партизаны. Став мэром, Пьер значительно увеличил эти поставки. Думаю, что после этого наше присутствие стало выгодным для его семьи: получаемых продуктов хватало на всех.

Несколько дней спустя в дом пришла молодая девушка. "Вас ждут, идемте", - обратилась она ко мне. Это была приемная дочь художника и Елизаветы, русская, тоже из семьи эмигрантов. Меня встретили как близкого человека. Приготовили ванну, дали чистое белье, в гардеробе художника нашлись для меня хорошие брюки, рубашка, куртка. После бегства из плена я не брился

(бритвенный прибор остался в госпитале) и успел обрасти большой бородой. Мне дали бритву, я с удовольствием сбрил бороду, но оставил усы, после чего французы стали называть меня monsieur Staline.

Я стал часто бывать в этом доме. Художника видел редко, он был занят какими-то коммерческими делами. Меня принимала Елизавета, она уделяла мне много внимания. Мы гуляли по окрестностям. Шла неторопливая беседа, и каждый из нас продолжал понемногу раскрывать свою жизнь. Я узнал, что Елизавета певица, обладает колоратурным сопрано, получила музыкальное образование в Париже. Ее обрадовал мой рассказ о моих музыкальных склонностях, интересовало мое отношение к религии. Сама она была верующей, но не фанатичкой и сдержанно относилась к духовной иерархии. Мой атеизм она восприняла спокойно, с уважением и лишь выразила надежду, что я все же когда-нибудь приду к вере.

Я проводил довольно много времени в их доме. В нем был патефон и большое собрание пластинок с записями выдающихся произведений классической музыки. Надо ли говорить, какое наслаждение доставляли мне звуки этой музыки и как это меня волновало. Однажды Елизавета спросила: "Хотите, я вам спою?" Она села за рояль и, аккомпанируя себе, очень хорошо спела несколько романсов русских композиторов и французских песен из репертуара известных шансонье. Это в дальнейшем повторялось не раз - она почувствовала во мне внимательного слушателя.

Вскоре после ухода немцев художник устроил званый обед. Среди гостей, их было человек двадцать пять, были корсиканцы, друзья семьи, и парижане, которые предпочли жизнь на Корсике жизни в Париже - режим итальянских властей на острове был свободнее и гуманнее режима, установленного немцами в оккупированной Франции. Был приглашен и я. Мне запомнились два момента. Первый: длинный стол обильно уставлен закусками, салатами, фруктами, винами. Во главе стола сидит хозяин дома, у него в руках большой круглый хлеб, который он разрезает длинным ножом, и каждый гость получает один небольшой кусок на весь обед. С хлебом на острове было плохо. Второй: когда художник представил меня - русский солдат, бежавший из немецкого плена, раздались аплодисменты. Была середина октября 1943 года, победы Советской армии были известны всем живущим на острове и вызывали восхищение. Во мне видели солдата победоносной Советской армии, ее "представителя". Такое же отношение к себе я встречал и в дальнейшем со стороны людей разных национальностей, с которыми мне довелось

общаться - до той минуты, когда моя нога ступила на родную землю.

В один из дней в поселок вступило подразделение армии де Голля. Жители с восторгом встретили его, забрасывали проезжавшие машины цветами. Прибывшая часть разместилась вблизи поселка и в последующие дни в каждом доме были гости - французские солдаты. Каждая семья считала своим долгом оказать им гостеприимство, выразить свою симпатию, угостить обедом. На такой обед к соседке Пьера был приглашен и я. Кроме меня за столом сидели два солдата. Старая одинокая женщина щудро угостила нас и пожелала благополучно вернуться к своим семьям. Ее сын с 40-го года находился в немецком плену. Еще до прихода деголлевцев Жак отправился в Бастию, оставив мне свой адрес. И вот однажды, когда я в очередной раз пришел в дом художника, открывшая мне дверь служанка сказала, что у хозяев гости французские офицеры, но что она доложит обо мне. Вернувшись, служанка сказала, что хозяйка просит ее извинить, она не может выйти ко мне и ждет меня завтра. Признаюсь, это меня задело. Я ушел, решив больше в этом доме не появляться. Дня через три или четыре меня разыскала приемная дочь Елизаветы. "Ради бога простите маму, - воскликнула девушка, - она не хотела вас огорчить и очень просит придти к нам". Елизавета встретила меня с явным волнением. "Простите меня, - сказала она со слезами на глазах. - Я не решилась пригласить вас на встречу с офицерами, я знаю эту среду, знаю их высокомерие и ограниченность, я боялась, что они могут вас обидеть своим невниманием и хотела оградить вас от этого!"

* * *

В первый же день после ухода немцев из Корсики я сказал Пьеру, что мне пора думать о возвращении в Советский Союз. Он на это ответил, что надо подождать, еще неясна обстановка, не налажены транспортные связи. Того же мнения был и художник. Время шло. Я несколько раз возвращался к этому вопросу и всякий раз Пьер говорил: "Не торопись, надо подождать". Это ожидание, несмотря на прекрасные условия, в которых я жил, стало меня тяготить.

Дело у нас дошло почти до конфликта. Однажды я зашел в мэрию. Пьер был там. Я снова заговорил о том, что мне пора уезжать, и вдруг он перешел на повышенный тон: "Зачем тебе это нужно, война продолжается, дорога в Советский Союз еще очень опасна, дождись конца войны, разве тебе плохо у нас?" Я вспылил: "Да пойми ты, именно потому, что война не кончилась, я должен как можно скорее вернуться на родину, это мой долг! И сколько бы ты ни кричал, я это сделаю!" Присутствующие со смущением

смотрели на нас.

Но эта вспышка на дальнейших наших отношениях с Пьером не отразилась, мы оставались друзьями. Однако я начал готовить свой отъезд. Моим союзником стал художник. Решили, что первым делом надо обзавестись какой-то бумагой, удостоверяющей мою личность. У Елизаветы была в мэрии добрая знакомая, которая сумела изготовить мне на бланке мэрии справку с печатью: "Предъявитель сего Пейко Борис, солдат русской армии, бежавший из немецкого плена, возвращается в Советский Союз". Подпись Пьера была подделана.

У художника была машина. Он сказал, что довез бы меня до Бастии, но все мосты по дороге взорваны. Есть, правда, кружной путь, но он очень долгий, да и не везде доступен для машины. Договорились, что меня отвезут до первого взорванного моста, дальше придется добираться пешком. Из дома Пьера надо будет уйти тайно, не простившись, как бы неприятно мне это ни было. Свой незатейливый багаж - смену белья, бритвенный прибор, полотенце, кусок мыла - я заранее перенес в дом художника. Все это поместили в небольшой рюкзак, туда же Елизавета положила пакетик с едой. Надо сказать, что вскоре после освобождения острова Пьер вручил мне довольно приличную сумму, которую, по его словам, собрали для меня его родственники и бывшие бойцы партизанского отряда. Художник тоже дал мне денег, так что у меня оказалась довольно большая сумма.

И вот долгожданный день наступил.

Машина стояла в условленном месте. За рулем был художник, Елизавета сидела сзади. Я сел рядом с ней. Проехали километров десять, дальнейшую дорогу преградил взорванный мост. Мы вышли из машины. Я поцеловал руку Елизавете, обменялся крепким рукопожатием с художником. Елизавета плакала.

Мне предстояло пройти километров тридцать. Настроение было приподнятое. Я твердил себе: с каждым шагом ты приближаешься к любимому человеку, к близким людям, к дому, и это наполняло душу радостью. Дорога шла вдоль моря.

Видимость была хорошая. Слева далеко-далеко просматривалось серое пятно - остров Эльба, и это давало дополнительное ощущение великого пространства. По мере моего продвижения вперед Эльба уходила все дальше и дальше, ее призрачные очертания становились все туманнее, и вот они исчезли совсем. Для меня это стало символом того, что я покидаю один мир и вступаю в другой.

На следующий день я дошел до Бастии. Вход в город был перекрыт полицейскими, которые у всех входящих и въезжающих

проверяли документы. Я предъявил свою справку. Полицейский, прочитав, заулыбался, пожал мне руку и со словами "добро пожаловать" пропустил меня. Я отыскал квартиру Жака, но дома у него никого не было. Выглянувшая соседка сказала, что Жак в типографии, назвала адрес, и минут через двадцать я обнял своего друга.

Жак поселил меня у себя.

Он был весь в работе - ему удалось наладить ежедневный выпуск своей газеты, так как типография сохранилась в целости, уцелели и запасы бумаги. На следующий после моего появления день он пошел с моей справкой в военную комендатуру и, вернувшись, сказал, что мне следует ехать в Алжир - в этом городе есть советское посольство. Добраться до Алжира можно на пароходе, который несколько раз в неделю отходит от столицы Корсики Аяччо. Туда ежедневно отправлялся военный автобус, и Жаку удалось договориться с комендатурой, что мне дадут возможность им воспользоваться, только надо ждать, когда будет свободное место.

Так прошло около недели, и в один из вечеров Жак, возвратясь с работы, сообщил, что через день я получу место в автобусе. На бланке редакции Жак напечатал нечто вроде сопроводиловки, в которой отметил мое участие в боевых действиях партизанского отряда и назвал меня "другом Франции".

Офицеру, встречавшему автобус в Аяччо, я предъявил свои бумаги, и он отвел меня на второй этаж одного из домов, где передал сержанту, который указал мне комнату для ночевки и предупредил, что без разрешения выходить из нее я не должен.

Утром мне принесли котелок макарон, кусок хлеба и кружку чая. Вскоре зашел дежурный офицер и велел мне явиться "в бюро" - он показал мне здание и назвал номер комнаты. Оказалось, что в этом здании размещается французская контрразведка. Я вошел в указанную мне комнату. Там сидели два человека в штатском. Мне предложили сесть, спросили фамилию, имя, просмотрели мои документы - справку из мэрии и бумагу, полученную от Жака. Они отнеслись к ней весьма иронически - "вот уже опять появились эти демократические газетенки". Начался допрос. Вел его тот, что помоложе, очевидно, он был старше чином. Второй, человек лет пятидесяти, записывал мои ответы и изредка задавал дополнительные вопросы. Они слушали меня спокойно, кое-что уточняли, но не вдавались в подробности до тех пор, пока я не дошел до Корсики. Здесь они удвоили внимание. Их особенно интересовало, как я попал на остров. Разговор принял неожиданный для меня оборот. "Назовите номер немецкой части, в которой вы были", - потребовали они.

В сопроводительной бумаге, которую мне дали при выписке из санатория в Сан-Ремо, номер части был указан, он остался у меня в памяти, и я его назвал. Допрашивающий заглянул в какую-то папку и заявил, что такой части на Корсике не было, что мне следует подумать и вспомнить настоящий номер, и продолжал спрашивать: "Сколько батарей было в вашем полку, сколько и каких орудий в каждой батарее?" - "Я же вам сказал, что не был солдатом этого полка, я как военнопленный работал на кухне при штабе и никакого отношения к батареям не имел", - ответил я. Но контрразведчиков мой ответ не удовлетворил. "Вам необходимо подумать, постарайтесь вспомнить все, что нас интересует, мы вызовем вас еще раз", - сказали они и отпустили меня.

Я вернулся в комнату встревоженный: меня принимали не за того, кем я был.

Спустя два дня, которые я провел в своей комнате меня вдруг вызвали к дежурному офицеру, где я увидел одного из допрашивавших меня контрразведчиков - того, кто вел запись допроса. Он с улыбкой шагнул ко мне, пожал мне руку и сказал: "Все в порядке, мы не имеем к вам никаких претензий!" Я растерянно смотрел на него: передо мной был совершенно другой человек, чем два дня на- зад - благожелательный, добродушный. "Я ведь тоже текстильщик", - продолжал он и далее пошел человеческий разговор, у нас нашлось, о чем поговорить. В заключение он сказал, что военная комендатура будет содействовать моему отъезду в Алжир, и пожелал счастливого пути. В тот же день меня перевели в нормально обставленную комнату, выдали пропуск на вход и выход в казарму и поставили на довольствие французского солдата. (Завтрак, между прочим, включал в себя две плитки шоколада и бокал вина.)

В первый день, когда я прогуливался по городу, меня остановил какой-то человек со словами: "Рад вас видеть!" Это был командир партизанского отряда из Бастии, я не сразу его узнал. Мы разговорились, и под конец он сказал: "Приходите к нам в клуб, я сейчас покажу, где он находится".

На следующий день в условленный час я был в клубе. В большой комнате собралось человек пятнадцать. Меня встретили радушно. Я рассказал о себе, о героизме советских солдат, о Москве, о Советском Союзе, ответил на вопросы. За последнее время мой французский улучшился, и разговор, в общем, получился. Меня познакомили с корреспондентом местной газеты, и на другое утро я стал известным человеком: в газете была напечатана большая статья обо мне. Помню, как я узнал об этом: я шел на завтрак и встретил во дворе коменданта казар- мы - офицера довольно высокого звания. Он знал, кто я, но до того

дня держался со мной очень сухо, а на этот раз расплылся в улыбке, был очень любезен, показал мне газету со статьей, поздравил. Мое знание французского не позволило мне прочитать статью, перевести ее было некому, а для меня это было важно. Как изложено мое пребывание в плену? Французы относились к этому с легкостью, а мне уже надо было думать о том, как меня встретят в Советском Союзе. Я решил газету с собой не брать.

У меня было еще несколько встреч с командиром отряда, он познакомил меня с городом. Думая о будущем, я в одну из таких встреч спросил его, нельзя ли мне получить подтверждение, что я был в его партизанском отряде. "Это может мне пригодиться на родине", - объяснил я. "Я сделаю это для вас", - ответил он, и на следующий же день я получил бумагу с печатью - это была моя боевая характеристика.

Так прошло около недели. Наступил день отъезда. В сопровождении сержанта иду со своим рюкзаком на спине через весь город в порт. Трогательная деталь: к нам неожиданно подошел незнакомый мне человек и воскликнул: "Пейко? Я догадался, что это вы, я читал о вас в газете. Приветствую вас. Вы уезжаете? Счастливого пути!"

* * *

И вот Алжир. Пароход встречали с музыкой - он доставил сюда партию освободившихся из немецкого плена французов. Я видел, как они сходили на берег, каждому вручали букет цветов. Все остальные прибывшие должны были пройти пограничный и таможенный контроль. Я вошел в комнату, где за длинным столом сидело человек десять военных, сел на стул напротив одного из них, показал свои бумаги - справку из мэрии и ту, что получил от Жака. Меня попросили показать содержимое рюкзака, после чего предложили пересесть к офицеру довольно высокого звания. Он окинул меня внимательным взглядом и стал расспрашивать - откуда я, в каких частях Советской армии служил и в каком звании, как попал на Корсику, а затем неожиданно произнес: "Я предлагаю вам вступить в наш иностранный легион, зачем возвращаться в Советский Союз, вас там ничего хорошего не ждет, тогда как у нас вы будете чувствовать себя прекрасно". Я ответил отказом и, несмотря на долгие уговоры, согласия не дал. Офицер был явно раздосадован.

Мне дали направление в военную гостиницу и выпустили в город. Я прожил в этой гостинице дня два или три. Каждый день я справлялся у дежурного офицера, когда меня передадут в советское посольство, но ответа не получал. Я познакомился с еще одним русским. Его звали Василий - высокий крепкий парень лет тридцати, ленинградец, по профессии шофер, тоже бежавший

из немецкого плена и тоже побывавший на Корсике. Он сказал, что находится здесь уже две недели, живется тут неплохо и нет смысла так уж спешить с переходом в наше посольство.

Дни шли, и я уже стал тревожиться - не есть ли это форма давления на меня, чтобы вынудить согласиться на вступление в иностранный легион. Добился приема у местного начальника и потребовал, чтобы меня незамедлительно передали в посольство СССР. На другой день меня посадили в машину, рядом сидел Василий, впереди - французский офицер. Мы подъехали к роскошного вида отелю, поднялись на второй этаж. Возле одного из номеров офицер предложил нам подождать и, постучавшись, вошел. Я был в некотором волнении: предстояла первая встреча с представителем советской власти, как нас примут? Минут через пятнадцать дверь отворилась, и человек в штатском на русском языке пригласил нас войти, предложил сесть и принялся расспрашивать. Тут же сидел сопровождавший нас француз, больше в комнате никого не было. Мы с Василием ответили на вопросы: фамилия, имя, местожительство в Советском Союзе, когда попали в плен и некоторые другие. "Да, это наши люди", - по-французски сказал офицеру спрашивавший нас человек и расписался в ведомости, которую тот ему протянул. Офицер попрощался с ним и, не удостоив нас даже кивка, вышел.

"Ну, теперь здравствуйте, - обратился к нам хозяин номера и пожал каждому руку. - Я первый советник посольства СССР, Аваев Иван Иванович".

Это был высокий, статный, элегантно одетый человек лет сорока пяти. Советским правительством он был уполномочен собирать советских военнопленных, освободившихся из немецкого плена, и направлять их на родину.

Иван Иванович Аваев остался в моей памяти человеком высоких душевных качеств. Он проявил ко всем нам предельную доброжелательность и трогательное внимание. После возвращения в Москву в 1946 году у меня была мысль найти его, чтобы выразить ему свою признательность и глубокое уважение. Но, подумав, я с горечью отказался от этого намерения: на мне в то время было клеймо подозрительного человека и это могло ему повредить. В первом же разговоре выяснилось, что оба мы москвичи, живем в одном районе Замоскворечье, оба принадлежим к одному социальному слою - интеллигенции. Он сразу отнесся ко мне с доверием.

Иван Иванович отвез нас на машине в транзитный лагерь, по дороге сказал, что назначает меня старшим по лагерю. Так, я стал "начальником". Следил за соблюдением порядка, вел учет проживающих в лагере, принимал вновь прибывших.

Аваев регулярно приезжал в лагерь, обходил бараки, беседовал с людьми. В один из своих приездов он предупредил меня, что на следующий день в лагерь прибывает новый контингент - бывшие бойцы интернациональных бригад, сражавшихся в Испании на стороне республиканцев. После победы Франко они отступили на территорию Франции, были интернированы и содержались на юге страны. После оккупации немцами Франции и ее североафриканских колоний (Алжир, Марокко) правительство Петэна сослало интербригадовцев в лагеря, расположенные в оазисах северной части Сахары. Изгнание немцев из Африки не изменило положения: союзное командование еще долго продолжало держать "интернационалистов" в лагерях Сахары, несмотря на их настойчивые просьбы дать возможность сражаться против немцев в составе союзных войск. В конце концов их вывезли из пустыни, но оружия не дали, а использовали для обслуживания военных складов в тылу действующей армии. Это имело политическую подоплеку: бойцы интернациональных бригад были убежденными коммунистами, союзное командование относилось к ним с недоверием, даже с неприязнью и не хотело видеть их в составе своих боевых частей. Советское правительство заявило, что разрешает интербригадовцам въезд в Советский Союз и договорилось с правительством Англии и США об отправке желающих.

В группе, которую я принял, было около сорока человек - немцы, венгры, поляки, чехи, прибалты и даже один француз. Немцев было больше всего человек пятнадцать. Большинство прибывших имели офицерское звание. Почти все в той или иной степени говорили по-русски. Я подружился с одним из них. Это был врач, еврей из Риги, он владел немецким и французским и по моей просьбе перевел на русский мою боевую характеристику.

Вскоре число проживающих в лагере приблизилось к сотне. "Готовьтесь к отъезду", - предупредил меня Аваев и предложил разбить весь состав на взводы и образовать роту. "Командиром роты будете вы, - добавил он. - Я представлю вас как старшего лейтенанта". - "Но я ведь только сержант", заметил я. "Сделать так необходимо, почти все интербригадовцы имеют офицерские звания, неудобно, чтобы ими командовал сержант", - возразил он. Аваев сказал мне также, что поскольку дипкурьеров в посольстве нет, мне будет доверена доставка в Тегеран дипломатической почты. "Для этой цели нужен еще один человек", - добавил он. И по моей рекомендации такой человек был выделен. Назову его Андреем.

Наступил день отъезда. Накануне нас с Андреем отвезли в

город, и Аваев в своем номере прибинтовал нам к груди по пакету с бумагами. "Только через ваш труп", - с улыбкой напутствовал он нас.

Нас довезли до центрального железнодорожного вокзала Алжира, посадили в товарные вагоны, и через 10-12 часов мы прибыли в алжирский портовый город Филипвиль. Аваев ехал с нами. По пути была длительная остановка в городе Константине, где мы ждали, когда нас прицепят к одному из проходящих поездов.

Когда Аваев выяснил, что мы двинемся дальше не ранее, чем через четыре часа, многие из нас, и я в том числе, решили пойти посмотреть город. Уже смеркалось. Аваев сказал, что лучше не ходить в одиночку - рядом с нашими вагонами стоял эшелон с подразделением армии Андерса, ожидая отправки в Алжир. Антисоветские настроения поляков были известны. Один из наших парней задержался, и когда он нас догонял, поляки перехватили его и довольно сильно поколотили. Это вызвало возмущение как советских ребят, так и интербригадовцев, и нам с Аваевым стоило больших усилий предотвратить потасовку.

* * *

В Филипвиле нас ожидало большое английское судно. Мы шли в составе большого английского каравана из десяти-пятнадцати крупных торговых судов, охраняемых военными кораблями. Направлялся караван в Тихий океан на дальневосточный театр военных действий, вез оружие, боеприпасы, продовольствие и людские резервы. Половину трюма занимали мы, другую половину - английские новобранцы, они были еще в штатском.

К нам был прикреплен английский полковник, отлично говоривший по-русски. Мы встречались с ним каждый день. Он был любезен, интересовался, все ли у нас в порядке, все ли здоровы, довольны ли питанием, нет ли каких-нибудь просьб.

И вот показалась полоска берега - мы шли уже в нейтральных египетских водах и приближались к берегам Египта, к началу Суэцкого канала. К вечеру вошли в большое озеро и встали на рейд возле Исмаилии. После ужина я вышел на палу- бу - уже совсем стемнело - и застыл, пораженный увиденным: море огней расстилалось передо мной (в Египте, как в нейтральной стране, затемнения не было). Я два года прожил при ночном затемнении, и этот освещенный город показался мне чудом.

Ночь мы простояли на рейде, утром двинулись дальше и часов шесть спустя пришвартовались к причалам города Суэца. Нам предстояло сойти на берег, а каравану продолжить свой путь к Тихому океану. Незадолго до остановки пришел попрощаться

английский полковник. Я поблагодарил его за хорошие условия, которые были нам предоставлены, он отметил высокую дисциплинированность нашей группы. И вдруг отвел меня в сторону и вполголоса сказал: "Зачем вам возвращаться в Советский Союз, ваше положение там будет сложным и непредсказуемым, оставайтесь с нами, это наилучшее решение для вас, я делаю вам совершенно официальное предложение". Мой ответ ясен. Полковник пожал мне руку, сказал, что сожалеет о моем отказе и пожелал всего наилучшего.

Мы сошли на берег, сели в пассажирский поезд, доехали до Каира, пересели на другой поезд и вскоре оказались на центральном вокзале Александрии, где уже ожидали машины, доставившие нас в английский лагерь на дальней окраине города. Мы прожили там в ожидании отправки около двух недель. К нам был прикреплен английский офицер, хорошо владевший русским языком. Это был интеллигентный человек моего возраста, мягкий и деликатный, сын русской эмигрантки и англичанина. Он следил за тем, чтобы наша жизнь в лагере проходила без каких-либо осложнений. Я встречался с ним ежедневно, и мы всегда находили время для длинных разговоров на всевозможные темы. Мне запомнился этот славный человек. Однажды он мне сказал: "Я наблюдаю за вами. О-о! Вы настоящий офицер!"

Дня через два после приезда в этот лагерь меня нашел человек в штатском, представился сотрудником советского консульства и предъявил служебное удостоверение. Он сказал, что его обязанностью будет следить, чтобы у нас не было здесь никаких трудностей и больших задержек с дальнейшим транспортом. Ему было лет двадцать пять, держался он просто, дружелюбно, и мы с ним даже сдружились, хотя я вскоре понял, что имею дело с сотрудником госбезопасности. Жил он в гостинице в центре Александрии.

В один из дней ко мне подошел человек лет пятидесяти в офицерской форме и на хорошем русском языке сказал, что рад встрече с русским офицером, что в Александрии живет довольно большая колония евреев, эмигрировавших из Советского Союза, что сам он и его семья принадлежат к этой колонии. "Мы будем очень рады, если вы найдете время побывать у нас", - закончил он. Мы договорились о дне и часе встречи, он дал свой адрес. Во мне заговорило советское воспитание, и я, подумав, предложил гэбисту поехать вместе со мной. Тот охотно согласился.

Нас приняли с восторгом. Пришло много людей, желавших встретиться с русским офицером, было много молодежи. Для собравшихся русские были героями, и мы в полной мере ощутили это на себе. Почти все хорошо говорили по-русски. Стол ломился

от снеди и бутылок с вином. Время прошло в оживленных разговорах, в песнях и танцах.

В последующие дни я несколько раз бывал в этой семье, и меня всегда встречали тепло и дружески. Все напоминало ту атмосферу, которая окружала меня на Корсике в доме художника.

Близился день отъезда. В нашу группу добавились два русских офицера, которые прибыли в лагерь еще до нас, и трое потомков русских эмигрантов юноша и две девушки, - выразившие желание воевать с фашистами в рядах Советской армии.

Мои еврейские знакомые приехали проводить меня, привезли мне чемодан, который заменил мой рюкзак. Они обратились ко мне с просьбой взять золотые часы и несколько золотых изделий, чтобы передать их родным, живущим в одном из городов Советского Союза. "За вещами они сами приедут в Москву, не беспокойтесь", - говорили они мне в ответ на мои отказы, не понимая, что послужило тому причиной. Но я-то понимал, что на родине меня ждет непредсказуемое, что возможны любые осложнения, объяснил им это - и был, наконец, правильно понят.

На этот раз мы едем в пассажирском поезде. Нас сопровождает тот офицер, который был прикреплен к нам в лагере. Гэбист тоже едет с нами, но в другом вагоне. Каир, Исмаилия, ночью переезжаем по мосту Суэцкий канал, около двухсот километров по Палестине вдоль берега Средиземного моря. В Хайфе выходим из вагонов. Ясное солнечное утро. Нас встречают с духовым оркестром, на перроне длинные столы, уставленные блюдами с бутербродами, вазами с фруктами, бутылками с соком и минеральной водой, кувшинами с местным вином. Еврейские девушки в военной форме потчуют нас с улыбками. Я прощаюсь с гэбистом. "До встречи в Иране", - говорит он.

Нам предстоит проехать через Синайскую пустыню до Багдада, это около тысячи километров. Два десятка военных грузовых машин, оборудованных для перевозки людей, ожидают нас. К вечеру мы достигли оазиса Рутба (на полпути между Хайфой и Багдадом), где и остановились на ночевку в английском транзитном лагере.

После ужина меня неожиданно вызвали к коменданту лагеря. В комендатуре кроме коменданта меня ожидали несколько польских офицеров. Оказалось, что одновременно с нами в лагере находится небольшая группа военнослужащих польской армии Андерса, направляющихся из Советского Союза в Алжир, и что командованию этой группы известно об инциденте, имевшем место в городе Константине, когда поляки поколотили нашего

солдата. Офицеры опасались, что у русских возникнет желание поквитаться, и обратились ко мне с просьбой не допустить конфликта. "Мы, конечно, осуждаем то, что произошло в Константине", - заверили они. Комендант поддержал их просьбу. Я пообещал принять все необходимые меры, мы довольно дружески побеседовали и в заключение распили несколько бутылок вина. Вернувшись к себе, я собрал командиров взводов и предупредил о необходимости соблюдать порядок.

Утром наше путешествие продолжилось.

Несколько слов об общей обстановке в регионе. Еще во второй половине 30-х годов началось проникновение фашистской Германии в Иран. Обладание этой страной дало бы ей большое стратегическое преимущество в подготавливаемой войне, и немецкое командование готовилось к захвату Ирана. Однако участники антигитлеровской коалиции нанесли превентивный удар: в августе 1941 года Иран был оккупирован советскими и английскими войсками, страна была поделена на две приблизительно равные части - северную и южную. Северную заняли части Советской армии, южную - английской. Тегеран оказался в советской зоне.

В Басре нас встретили советские офицеры, но встреча ограничилась вопросами, все ли у нас в порядке, не нужна ли какая-нибудь помощь. Больше мы их не видели. Зато мы впервые увидели новую советскую военную форму, она всем понравилась, погоны произвели впечатление.

И вот мы прибыли в Тегеран. Нас встретила группа советских офицеров во главе с полковником. Я представился. Держались они корректно, но холодно. Спросили, нет ли больных. Я сказал полковнику, что мы везем дипломатическую почту, он был немного удивлен, сказал, что сообщит об этом в наше консульство. Всю группу разместили на нарах в больших казарменных помещениях, а меня провели в комнату дежурного офицера. Он спросил, в каком я воинском звании, когда и где попал в плен, причем все это в сочувственном тоне. В комнате стоял широкий диван. Офицер принес мне подушку, одеяло, а затем большую тарелку с бутербродами и полный до краев стакан водки. Пожелав покойной ночи, он удалился. Рано утром пришел человек в штатском, я передал ему диппочту.

Нам предоставили несколько теплушек, прицепили к пассажирскому поезду, и мы поехали. Еще около трехсот километров по красивейшей горной дороге. Занимался солнечный день. В отличнейшем настроении мы приближались к границам Советского Союза.

* * *

В Бендер-Шахе, портовом иранском городе на берегу Каспия, мы прожили дней десять. И здесь перед нами прошла как бы тень того, что ожидало нас в Советском Союзе. Нас кормили в столовой воинской части, мы ходили туда строем в сопровождении лейтенанта, всегда к строго определенному часу. Территория воинской части была обнесена каменной оградой, вход был через проходную. В первый же наш приход мы заметили: часовых в проходной почему-то нет, выходим на большой казарменный двор - ни души, входим в столовую - ни души, только в окнах раздаточной видны люди. Сначала мы не придали этому значения, но такая картина повторялась во все последующие дни, и мы поняли, что это не случайность, что приняты меры к тому, чтобы изолировать нас от военнослужащих части, не допустить никаких контактов с ними, что нас рассматривают как людей подозрительных.

Люди, конечно, кое-что знали об отношении Сталина к пленным и реально испытали это на себе - полное бесправие в немецком плену, отсутствие помощи международного Красного Креста, что привело к гибели многих сотен тысяч человек. Но они не чувствовали за собой вины: они по собственной воле возвращались в Советский Союз еще в разгар войны, готовые включиться в любую форму борьбы с врагом, они пренебрегли соблазном остаться на Западе, где им была бы гарантирована неплохая жизнь, они ехали на родину с открытой душой и верой в справедливость.

Не могу не рассказать об одной неожиданной встрече. Однажды на нашей территории появился интеллигентного вида человек в штатском. Он нашел меня и отрекомендовался сотрудником советского консульства в Бендер-Шахе. "Я слышал, что ваша фамилия Фридман, - обратился он ко мне. - Не родственник ли вам Владимир Георгиевич Фридман, профессор МГУ?" - "Это мой дядя, брат моего отца", - ответил я. Он продолжал: "Я ученик Владимира Георгиевича, слушал его лекции и сдавал ему экзамены!" Мы пожали друг другу руки и состоялся приятный разговор. Трогательная деталь: в конце 1944 года этот человек разыскал в Москве моего дядю и рассказал о нашей встрече. Я его об этом просить не решился.

* * *

Наступил день отъезда. Мы погрузились на большое грузовое судно. Всех разместили в просторном трюме, мне капитан уступил свою каюту.

Наше судно медленно подходит к Красноводску. Не без волнения смотрим мы на приближающийся берег. Длинный пирс. На его конце застыла высокая фигура военного, напряженно

всматривающегося в приближающееся судно. Этот жесткий образ и сейчас стоит у меня перед глазами.

Прошли таможенный контроль. Две молодые таможенницы держались очень дружелюбно. Наш багаж они не досматривали, ограничились одним вопросом: не везете ли оружие? А досматривать было что: почти каждый из нас вез с собой довольно объемистый чемодан.

После окончания всех процедур нас построили. Молоденький младший лейтенант заявил, что он прикреплен к нам на время нашего пребывания в Красноводске. "Кто старший?" - спросил он. Я отозвался. "Фамилия? Останешься старшим, командуй". Нас разместили в просторном классе на первом этаже школы, у двери был поставлен часовой с винтовкой. "Выход из здания запрещен. Фридман, ты несешь ответственность за соблюдение порядка", сказал лейтенант и удалился. Истекали последние часы 1943 года.

Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и залег на свою раскладушку. Так прошел наш первый день в Советском Союзе. Нас встретили как людей неблагонадежных, которых следует держать под конвоем. Но мы этого еще не осознавали.

Дни протекали монотонно. Кормили нас в городской столовой, куда мы ходили строем в сопровождении младшего лейтенанта. На второй или третий день я обратился к нему: "Надо снять охрану, практически она ничего не обеспечивает, а ребят раздражает. Поговори с начальством". И часовых сняли, но выход на улицу держали на запоре, что впрочем, не мешало некоторым молодцам через окно уходить на ночь в город.

Снова день отъезда. Строем дошли до вокзала. На дальнем запасном пути стоял вагон, обыкновенный пассажирский вагон, но на всех его окнах были решетки. В одном из торцов стенкой до потолка отгорожена секция для размещения конвоя, и только через нее можно выйти из вагона. Тамбур на другом конце наглухо закрыт, и вход в него зарешечен. Ни одеял, ни подушек, ни тем более постельного белья не полагалось.

Вид тюремного вагона буквально ошеломил ребят. Наш лейтенант начал было по списку вызывать людей для передачи их начальнику конвоя - старшему лейтенанту, но тут произошло неожиданное: почти все ребята легли на землю и заявили, что в тюремном вагоне никуда не поедут. Офицеры тоже были ошеломлены, но к их чести никаких криков и угроз не последовало. Начались уговоры: от них, мол, ничего не зависит, время военное и вполне естественна повышенная бдительность, с этим надо считаться, сохранять спокойствие и так далее. Около часа потребовалось, чтобы убедить людей войти в вагон. Ночь

простояли на запасном пути, а утром нас прицепили к пассажирскому поезду и мы двинулись в путь-дорогу.

* * *

Из Красноводска выехали числа 10-го января и прибыли на место назначения, в Рязань, 7-го февраля 1944 года, то есть почти месяц спустя. Наш вагон прицепляли к попутным пассажирским поездам, иногда и к товарным, и на больших станциях мы, стоя на дальних запасных путях, сутками ожидали, когда нас прицепят к очередному поезду. Проехали по Туркмении, Узбекистану, Казахстану, через города Ашхабад, Ташкент, Актюбинск, Оренбург, Саратов.

Конвой относился к нам вполне корректно, чтобы не сказать сочувственно. Каждое утро начальник конвоя заходил к нам, осведомлялся, все ли нормально, все ли здоровы. Два раза в день мы получали кипяток.

Еще в Красноводске я задумал отправить в Москву письмо, но решил сделать это где-нибудь в пути, когда мы будем поближе к месту назначения больше шансов, что дойдет. И я письмо написал, адресовав его нашим соседям по московской квартире. Сообщал, что жив и здоров, нахожусь в засекреченной воинской части, не могу сообщить о своем местонахождении и прошу дать знать об этом моей жене, если им известно, где она находится. Когда в Оренбурге ребята в очередной раз пошли за сухим пайком, я дал одному из них мое письмо, сложенное фронтовым треугольником, и попросил незаметно опустить в почтовый ящик. Сделать это удалось и, как впоследствии выяснилось, письмо дошло до адресата. Эта была первая весточка от меня после октября 1941 года.

Хочу рассказать еще об одном запомнившемся эпизоде. Мы стояли на какой-то станции, когда на соседний путь прибыл встречный пассажирский поезд, при этом случилось так, что окна нашего вагона оказались точно напротив окон вагона прибывшего поезда. Я в это время как раз стоял у своего окна, и перед моими глазами возникло купе, заполненное пассажирами. Это было для меня настолько неожиданным, что я застыл на месте и не мог оторвать взгляда от сидевших там людей, они отвечали мне тем же. Их лица, как мне казалось, выражали и любопытство и злорадство, и испуг, и даже сочувствие. Сердце у меня сжалось. Какие-то полтора-два метра отделяли нас друг от друга, но меня пронзила мысль, как далек от меня этот мир, войду ли я в него когда-нибудь, увижу ли своих близких. Я впервые отчетливо осознал серьезность своего положения. И вместе с тем ощутил какое-то превосходство над смотревшими на меня людьми. Ход мысли был таков: вы с жадным любопытством разглядываете

"преступника", для вас это интересное зрелище, вам привита неколебимая вера в то, что в СССР невиновный человек не может попасть за решетку, но я-то знаю больше вас, знаю, что жизнь сложнее прямолинейных представлений, во власти которых находитесь вы.

Встречный поезд тронулся, и наваждение исчезло.

Тронулись в путь и мы. Примечательно, что за время, проведенное в дороге, в психологии людей произошли явные изменения - все немного притихли, стали более замкнутыми, более сосредоточенными, к решеткам на окнах привыкли, они перестали возмущать. По-видимому, ребята стали понимать, что попали в тиски твердой и жесткой системы, что впереди их ждут нелегкие испытания и предстоит борьба за выживание. Все это понимал и я, но вера в то, что все обойдется, не покидала меня при самых крутых поворотах моего военного пути. Эта спасительная вера помогла мне и в новых условиях сохранять относительное спокойствие.

В Саратове в вагоне обнаружилась какая-то неисправность, и нас пересадили в столыпинский вагон. По одну сторону довольно узкий коридор, по другую несколько больших камер тюремного типа. В каждой справа и слева трехъярусные нары, под самым потолком небольшое квадратное зарешеченное окошко, в двери большое, тоже зарешеченное, смотровое окно. В одном конце вагона - карцер и уборная для конвоируемых, в другом - обычные купе для конвоя, эта часть отделена зарешеченной дверью.

Вспоминается, как нас пересаживали. Выйдя из вагона надо было сесть на землю, на снег, и сидеть, не двигаясь. Нас окружало кольцо конвоиров. Когда все вышли, то стали по списку выкликать людей, поодиночке отводили в вагон и сажали в одну из камер. Новый конвой обращался с нами, как с опасными преступниками. Камеры были забиты людьми до отказа, трудно было пошевелиться. Нам объявили, что в уборную будут водить два раза в сутки утром и вечером. Дверь закрыли и заперли. Мы затихли, удрученные. Прежний вагон казался раем. Вечерело. Одна лампочка тускло освещала камеру.

Не прошло и часа, как в камере стало нестерпимо жарко и душно, было нечем дышать, томила жажда. Нарастал ропот, вспыхнуло возмущение. Загремели удары в дверь в расчете, что кто-нибудь подойдет. Начальник конвоя действительно появился. Он открыл смотровое окно и потребовал прекратить беспорядок. Но люди обрушились на него: нельзя с советскими солдатами, бежавшими из немецкого плена и возвратившимися на родину, обращаться, как с преступниками, держать в нечеловеческих условиях - кричали они. В это время неожиданно подошел офицер

высокого звания в форме внутренних войск. Полагаю, что он ехал по своим делам в служебном отделении этого же вагона и то ли случайно оказался возле камер, то ли был привлечен шумом. Он стал внимательно прислушиваться к перепалке, разглядывая нас. Затем попросил ребят успокоиться и принялся расспрашивать, когда и где попали в плен, в каких частях служили. Затем перешел к соседней камере с теми же вопросами. Оказалось, что там один из ребят в 1941 году был с этим офицером в одном и том же окружении. Офицер и начальник конвоя удалились, и вскоре пришли конвойные солдаты, открыли двери камер, часть людей перевели в пустовавшие камеры. Принесли бидон с водой и две кружки, все утолили жажду. Объявили, что уборной можно пользоваться в любое время. Мы дали конвойным несколько пачек английских сигарет, и отношения наладились окончательно.

Вечером 7 февраля 1944 года поезд прибыл в Рязань. Наш вагон отцепили, отвели на дальний запасный путь, и вскоре раздалась команда "на выход". Процедура была той же: выйдя из вагона, надо было сесть на заснеженную землю и не шевелиться. По списку нас передали новому конвою, мы построились в колонну и, окруженные солдатами с собаками, зашагали. Прошли по полю полтора-два километра и оказались перед высокой оградой, опутанной колючей проволокой. Это был Центральный проверочный лагерь СМЕРШа. Нас провели в приемное помещение. Здесь прошла перекличка. На вопрос о воинском звании я ответил: сержант. Мы расположились на нарах, на голых досках, прижались друг к другу, чтобы согреться. Я забылся тяжелым сном.

* * *

Состав проверяемых был разнообразен: вышедшие из окружения (особо подозреваемые), бежавшие и освобожденные из плена, работавшие при немцах на оккупированной территории на каких-нибудь должностях. Офицеры и солдаты содержались вместе. Нас, прибывших из Северной Африки, народная молва окрестила "африканцами".

На следующее же утро я, единственный из всех прибывших, был вызван к следователю. Постучавшись, с волнением переступил порог. За столом сидел старший лейтенант, человек лет сорока пяти. Он предложил мне сесть. Табурет стоял в двух метрах от его стола. Сначала я ответил на общие вопросы фамилия, имя, отчество, возраст, образование и так далее. Затем мне было задано два вопроса.

Первый: как это так, я, старший лейтенант, выдаю себя за сержанта. Вопрос резонный: ответственность офицеров была на

порядок выше ответственности рядового и младшего командного состава. Я дал подробное объяснение, как было дело.

Второй вопрос: как же мне, еврею, удалось остаться живым в фашистском плену? Я ответил, что меня нельзя считать евреем: моя мать русская, у моего отца мать тоже была русская, меня крестили, обряду обрезания я не подвергался. "В плену я был под фамилией матери - Пейко, - продолжил я. Внешность у меня не еврейская, посмотрите на меня - и вы убедитесь в этом". Следователь внимательно посмотрел на меня, чуть призадумался и сказал, что я могу идти. В процессе всего дальнейшего следствия он к этому вопросу не возвращался.

Первый месяц допросы проводились ежедневно, кроме воскресений. Интерес следствия был сосредоточен на трех вопросах: при каких обстоятельствах попал в плен; что делал в плену; не завербован ли союзнической разведкой. Последнее относилось именно к нам, "африканцам", и было, пожалуй, главным для следствия.

Я рассказал обо всем, что со мной было, за исключением того, что около месяца носил немецкую форму. Это произошло, как известно читателю, случайно, совершенно для меня неожиданно, и я воспользовался этой случайностью, обманул немцев, что избавило меня от возвращения в лагерь для военнопленных и помогло, в конечном счете, вернуться на родину. Но я понимал, что мне не поверят. Не рассказал я также о том, что французы предлагали мне вступить в иностранный легион, а английский полковник советовал не возвращаться в Советский Союз, то есть, по существу, предлагал вступить в английские вооруженные силы. Совесть моя была чиста, но рассказ об этом основательно осложнил бы мое положение, и без того сложное.

Обстоятельства сдачи в плен не вызвали подозрений, трагедия Вяземского окружения была хорошо известна, и следователь интересовался лишь некоторыми подробностями. Позднее он сам рассказал мне о просчетах нашего командования и нашей разведки, приведших к этому крупнейшему поражению Красной Армии.

Расследование пребывания в плену, в основном, сосредоточилось на моих показаниях о работе при штабе зенитного полка. Следователь остановился на версии, что я был зачислен в немецкую армию: носил немецкую форму и даже получил оружие. Он приложил много усилий, чтобы добиться от меня признания в этом. Своими вопросами старался меня запутать, поймать на противоречиях, вынудить проговориться. Но чего не было - того не было. Даже перейдя к другим вопросам, он

не раз возвращался к тому же, очевидно рассчитывая, что внезапность поможет поймать меня. Улик у него не было, но подозрения сохранились.

Следующий этап следствия - не завербован ли я разведкой союзников. Должен сказать, что я был ошеломлен такой постановкой вопроса и не сразу понял ее серьезность. Мне было предложено подробно рассказать о всех моих встречах и контактах после бегства из плена, на пути в Советский Союз. Большое внимание было уделено фотографиям, которые я привез. Особое подозрение возбудил художник: не сотрудник ли это английской или французской разведки? Много вопросов вызвала полученная мною боевая характеристика, особенное подозрение вызвал перевод ее на русский. Кто сделал перевод? В каких целях? Следователь заподозрил, что все это инсценировано завербовавшей меня разведкой. Он в прямой форме предложил мне признаться, какое задание я получил. "Мы все равно узнаем о ваших связях, будет лучше, если вы сами обо всем расскажете", - сказал он. Но улик и здесь не было.

Отсутствие улик при сохранившихся подозрениях - думаю, этим заканчивалось большинство допросов. Это не мешало следствию выносить обвинительные заключения и передавать дела в суд. СМЕРШ применял и другую тактику - выжидание: не появятся ли со временем необходимые улики? Может быть, их принесет ответ на разосланные по местам запросы; может быть, они будут обнаружены в показаниях других проверяемых, источники ожидаемой информации могут быть самыми разнообразными. И СМЕРШ выжидал, подозреваемых продолжали держать в зоне, и это могло длиться годами.

К весне допросы окончились, но к каким выводам пришло следствие, мне было неизвестно. На мои вопросы следователь отвечал: "Чего вы беспокоитесь? Ждите!" В таком положении находились все "африканцы".

Прошло полтора-два месяца. И вдруг однажды, поздно вечером, дежурный по зоне офицер зашел к нам в барак и сказал, что меня вызывает начальник лагеря. Я встревожился. Вышел за зону, поднялся на второй этаж административного корпуса и, постучавшись, с волнением вошел в большой кабинет. За столом сидел начальник Центрального проверочного лагеря СМЕРШа полковник Белов. Перед ним лежала папка - очевидно, мое дело. Он предложил мне сесть и задал несколько вопросов:

- Что за недоразумение было с вашим воинским званием?

- В каких боевых действиях партизанского отряда участвовали, были ли потери?

- Кто эти люди на ваших фотографиях?

Я стал отвечать, полковник дополнительно интересовался некоторыми подробностями. На столе стоял включенный радиоприемник, звук был приглушен, но я уловил, что передают оперу "Евгений Онегин". И вдруг полковник говорит: "Помолчим немного", - усиливает звук, и мы слушаем с ним арию Ленского. "Куда, куда вы удалились"... Скажу откровенно - слезы навернулись у меня на глаза. Ария закончилась, звук был снова приглушен, и допрос продолжался. Выслушав все мои объяснения, полковник полистал мое дело, призадумался и сказал: "Фридман, мы верим вам, но имейте в виду, если выяснится, что вы говорили нам неправду, пеняйте на себя - ваша жизнь будет испорчена. Можете идти".

Я вышел глубоко взволнованный. Из его слов можно было заключить, что следствие по моему делу закончено и никаких обвинений мне не предъявляется. Появилась надежда на освобождение. Но время шло, а мое положение не менялось.

В начале июня нас перевели в Рязань, в рабочий лагерь при заводе сельскохозяйственного машиностроения.

Офицеры, прошедшие следствие и не получившие срока, то есть повинные только в том, что были в плену, по окончании проверки направлялись на фронт в штрафные батальоны. Пленные, работавшие в немецких лагерях переводчиками, автоматически получали 10 лет. Был такой случай: на проверку прибыла группа освобожденных нашими войсками из плена; среди них был переводчик, работавший в том лагере, где они содержались; прибывшие дали о нем хороший отзыв - проявлял заботу о пленных, некоторым спас жизнь. Люди просили за него, но СМЕРШ не отступил от инструкции.

Отмечу характерную черту проводимых СМЕРШем дознаний: особое подозрение вызывали бежавшие из плена, благополучно вышедшие из критических ситуаций. Следствие прежде всего подозревало, что все это инсценировка, что они завербованы вражеской разведкой.

Иногда применяемая СМЕРШем тактика выжидания приносила результаты. Так, к нам повадился заглядывать старший повар лагерной кухни, щеголеватый и нагловатый парень. Он приходил за английскими сигаретами, которые сохранились у некоторых "африканцев". Всякий раз сетовал: дело его давно закончено, вины за ним никакой нет, а вот почему-то держат в зоне. Однажды пришел радостный: "Скоро выхожу на свободу". А потом пропал. Я подумал, что он наконец-то распрощался с зоной, но оказалось, что кто-то его опознал. Выяснилось, что он служил в немецком карательном отряде. Получил 25 лет.

Однажды нас подняли раньше обычного, приказали готовиться к отъезду, выдали сухой паек. Строем, под охраной, мы дошли до вокзала, где нас принял конвой внутренних войск. Снова команда - "Сесть на землю, не шевелиться". Всех обыскали, и вот мы в товарном вагоне - двухъярусные нары, параша, двери наглухо заперты. Поезд тронулся, снова в путь. Куда? Этого никто не знал.

К концу дня подъехали к окраине какого-то большого города. Поезд остановился около платформы, и мы в открытое окошко спросили проходящих, что это за город. "Москва", - прозвучало в ответ. Это всех ошеломило.

Часа через два мы были в Подольске. Строем под охраной прошли по шоссе километров пять до поселка Щербинка и оказались в лагере СМЕРШа. Я был в смятении: так близко от Москвы и так далеко от дома!

Еще в Рязани я разговорился с одним пожилым москвичом. Дело его было закончено, он чем-то хворал и его должны были вот-вот выпустить. До войны он с семьей жил на Большой Полянке, я - на Якиманке, и мы почувствовали себя соседями. В Щербинке он нашел меня и сказал, что его выпускают, и я дал ему свой адрес и телефон.

Дня через два-три я утром вышел из дома к колонке, расположенной около забора, помыл лицо после бритья и, стоя к забору спиной, вытирался. Вдруг меня окликнули. Я обернулся и замер - это была жена!

Я сказал, чтобы она шла к проходной, сам поспешил туда же и спросил у дежурного офицера, можно ли повидаться с женой, которая приехала из Москвы. Он сейчас же отпер наружную дверь и впустил Миру, затем прошел в смежную комнатку, предназначенную для отдыха охраны, велел находившимся там солдатам выйти и пригласил нас. "Можете спокойно посидеть и поговорить". Это было началом моего возвращения к жизни.

На следующий день Мира снова была в Щербинке. Дежурный лейтенант взял у нее паспорт, выпустил меня из лагеря, и мы около часа погуляли. Еще через день приехал отец Миры, Ефим Маркович. Встреча была очень сердечной.

* * *

Лагерь в Щербинке был транзитным. Сюда поступали прошедшие следствие и не преданные суду. Здесь их как бесплатную рабочую силу распределяли по трудовым лагерям СМЕРШа.

В следующий свой приезд Ефим Маркович - человек энергичный, целеустремленный, разыскал кого-то из начальников и переговорил обо мне. Тот сказал, что к "африканцам"

отношение особенно недоверчивое, но не исключал, что к Октябрьским праздникам я могу быть освобожден, а пока обещал постараться направить меня в Москву на строительные работы. Для этого надо было заполнить анкету, указав в графе "профессия" каменщик. Не без колебаний заполнил я анкету. Ефим Маркович был доволен, не сомневался в успехе этой затеи. "Теперь будем ждать", - сказал он.

Дня через два, в воскресенье, Мира приехала с Наташенькой и своей матерью, Эсфирью Львовной. Погода стояла солнечная, теплая, настроение было прекрасное. Я помнил Наташу крошкой в колясочке, а сейчас видел красивую четырехлетнюю девочку с живым и умным взглядом. Она дичилась меня, но и я робел перед нею.

В один из следующих дней, когда в очередной раз должен был приехать Ефим Маркович, "африканцы" утром неожиданно получили приказ: с вещами на выход. Сердце мое сжалось. Строем мы дошли до Подольска, а там - те же товарные вагоны, те же нары и параша, тот же грубый конвой. Поезд тронулся.

Снова в путь и снова неизвестно куда!

* * *

Через два дня мы были в Сталинграде. Было начало августа 1944 года. Большой лагерь СМЕРШа на берегу Волги в промышленном районе города, далеко от его центра. Город в руинах. Следы великого сражения потрясли нас.

Развертывалась огромная работа по восстановлению Сталинграда. Нас направили на восстановления Сталинградского тракторного завода и примыкающего к нему жилого района.

Крутой, высокий берег Волги, внизу причал - здесь разгружались суда, привозившие лесоматериалы, в основном, бревна. Мы вручную затаскивали все это наверх и грузили на автомашины. Рабочий день - 12 часов.

Месяц спустя нас перевели на восстановление жилого фонда. За нашей ротой закрепили четыре полуразрушенных четырехэтажных дома в нескольких километрах от лагеря.

Поразительное совпадение: оказалось, что прораб до войны работал главным механиком на льнокомбинате в городе Меленки Владимирской области, на котором я часто бывал. В Сталинград он попал по трудовой мобилизации, жил здесь же, на строительной площадке, в уже отремонтированном полуподвальном помещении, с женой и десятилетней дочерью. Оба мы обрадовались встрече, вспомнили прошлое, он пригласил меня к себе на квартиру, и мы выпили по стопочке. Я стал работать помощником прораба.

Потянулись дни и недели. Ежедневно вышагивали мы свои

километры на работу и обратно. Прораб и его жена относились ко мне с большим вниманием, двери их квартиры были для меня всегда открыты. С теплым чувством вспоминаю я этих людей.

Как-то, возвращаясь с работы, я увидел стоявшего возле проходной человека с чемоданом, это был... Ефим Маркович, мой тесть! О том, что я в Сталинграде и в каком именно лагере, он узнал в Щербинке, но как он сумел получить командировку или какой-то иной документ, без которого в те годы передвигаться по стране, а уже тем более вернуться в Москву было невозможно?

Командир нашего конвоя помог мне получить разрешение выйти на весь вечер из лагеря в сопровождении расконвоированного сержанта, оставшегося работать в системе СМЕРШа. Втроем мы дошли до квартиры моего прораба, вместе поужинали, Ефим Маркович остался там ночевать, а мы с сержантом вернулись в лагерь.

На следующий день было воскресенье, мы не работали. Я снова получил разрешение выйти из лагеря и с тем же сержантом дошел до квартиры прораба. Он оставил меня там, сказав, чтобы я вечером возвратился в лагерь один, караул в проходной будет предупрежден. Я провел с Ефимом Марковичем весь тот день. При прощании он передал мне кучу продуктов и довольно крупную сумму.

Встречи с близкими успокоили меня. Сознание, что дорогие мне люди живы и благополучны, принесло душевную устойчивость. Вместе с тем сильнее стала тяготить неясность моего положения. Не коснулась ли меня и всех "африканцев" та длительная "выдержка", применяемая СМЕРШем, о которой я писал выше?

Сейчас события того времени видятся издалека и понять их легче. Думаю, нас держали в лагере не потому, что все же надеялись на появление каких-либо улик. Скорее всего в основе позиции СМЕРШа лежало недоверие к каждому пришельцу из-за рубежа, которое стало органической частью советского образа мышления.

Подошел декабрь 1944 года. Зима вступала в свои права, и всем лагерникам стали выдавать зимнюю одежду - ватники, валенки, шапки-ушанки, но нас это не коснулось - "африканцы" продолжали ходить в своей легкой английской форме. Мы увидели в этом добрый знак: СМЕРШ не собирается продержать нас зиму в лагере. Об этом думалось, об этом велись разговоры.

У меня еще раньше появился знакомый из другой роты, интеллигентный молодой человек, мы прониклись доверием друг к другу. Его дядя, брат отца, генерал, занимал какую-то должность в Сталинградском гарнизоне. Они регулярно виделись.

Дело этого молодого человека тоже было давно закончено, но его, как и нас, "выдерживали". Генерал обращался к начальнику лагеря с просьбой ускорить освобождение племянника, но ничего не добился кроме того, что племяннику как-то разрешили два дня побыть у дядюшки дома.

И вот однажды в конце месяца мой знакомый говорит мне, что его дядя прослышал о предстоящем освобождении определенного контингента лагерников и что это связано с передовицей в газете "Правда", которая в те времена, как известно, отражала позицию высоких партийных инстанций. Суть передовицы: людям, которые вернулись в Советский Союз и которые могут принести пользу стране, следует такую возможность предоставить.

Новый год мы встречали с надеждой.

В самом начале января меня неожиданно вызвали в отдел лагерной администрации. Начальник этого отдела принял меня любезно: "В ближайшие дни вы будете демобилизованы, выпущены из лагеря и направлены на работу по трудовой мобилизации. Есть три варианта. Во-первых: предлагаю вам работу в нашем отделе. Хорошая зарплата, вполне приличные жилищные условия. Во-вторых, вас можно направить в Москву, в конвойный полк Министерства внутренних дел, в-третьих, направить в трест "Сталинградтракторстрой", от которого, кстати, есть на вас заявка. Подумайте и приходите завтра с ответом".

Поездка в Москву очень соблазняла меня, и первым моим порывом было выбрать именно этот вариант. Но, подумав, я понял, что идти в конвойный полк, то есть по существу остаться в той же лагерной атмосфере, хотя и в другой роли, для меня невозможно. По той же причине я отверг и работу в лагерной администрации. На другой день я сообщил начальнику отдела о своем решении. "Жаль, я хотел бы, чтобы вы работали у нас", - сказал он.

События разворачивались стремительно. После Нового года мы уже не работали, наши места на стройплощадке заняли другие люди, и это было лишним доказательством того, что приближаются перемены. И перемены наступили. Командир нашей роты зашел к нам и объявил: "В девять вечера слушайте местное радио, будет важное сообщение!" Было пятое или шестое января.

И вот включен репродуктор. Диктор заговорил: "Сейчас я назову фамилии тех, кого завтра выпускают из лагеря. Все они демобилизуются из армии и направляются на работу по трудовой мобилизации в трест "Сталинградтракторстрой". Далее прозвучало восемь-десять фамилий, но моей среди них не было.

То же самое во второй день и в третий. На четвертый день я наконец услышал свою фамилию.

10 января 1945 года я вышел из ворот лагеря. Было морозное солнечное утро. Одиннадцать месяцев пробыл я в лагерях СМЕРШа, и теперь этот сложный и непредсказуемый путь позади. Я на свободе!

Утром я был вызван к начальнику Управления производственными предприятиями (УПП) треста Агаркову. Он показал приказ директора треста о моем назначении заместителем начальника УПП по общим вопросам - кадры, материальное снабжение, еще кое-что. "О работе поговорим завтра, - сказал Агарков. - Идите устраиваться с жильем".

Меня проводили в так называемый Дом специалистов в полутора-двух километрах от Управления и показали комнату на третьем этаже, в которой мне предстояло жить. Там стояли четыре раскладушки с постельными принадлежностями, три из них были заняты, как вечером выяснилось, такими же бывшими лагерниками, как я, - инженерами-строителями по профессии.

Выйдя из дома, я, прежде всего, отыскал почтовое отделение и дал телеграмму жене. После этого побрел куда глаза глядят, переходил с одной улицы на другую, шел среди развалин, под ноги не раз попадали человеческие черепа.

То, что произошло, еще не вполне ощущалось реальностью, возможность идти, куда хочу, завораживала, и вместе с тем меня не оставляла неуверенность, робость: к свободе, очевидно, предстояло привыкать. По пути мне попалось что-то вроде агитпункта. Я вошел в небольшую комнату, в ней не было никого. Около часа просидел я там, не прикоснувшись к газетам, я наслаждался тишиной и одиночеством, ничего другого мне не было нужно. Эту потребность в тишине я испытывал потом еще долгое время.

* * *

Я подошел к последней части моих воспоминаний - работа в Сталинграде с 10 января 1945 года до отъезда в Москву 16 марта 1946 года.

Итак, я был зачислен в штат треста "Сталинградтракторстрой" и назначен заместителем начальника Управления производственных предприятий. Как получилось, что я сразу занял ответственную должность? Еще будучи в лагере, работая на стройплощадке, я узнал, что главным инженером треста работает некто Букштейн. До войны я был связан по работе с видным инженером-текстильщиком Букштейном. Когда мой тесть посетил меня в Сталинграде, я рассказал ему об этом совпадении, и мы решили, что он попытается найти Букштейна-

текстильщика и узнать, не родственник ли он Букштейну-строителю. Оказалось, что они родные братья. В результате в лагерь поступила просьба выпустить меня и направить на работу в трест. Это было в ноябре-декабре 1944 года. На эту просьбу был получен отказ. Но для Букштейна-строителя я уже не был пустым звуком, и на другой же день после моего выхода из лагеря мне показали приказ о моем назначении.

Была еще одна попытка освободить меня. Мой друг Борис Смирнов к началу войны работал главным инженером Главного управления льняной промышленности. В армию он призван не был и к 44-му году сделал большую карьеру: работал в аппарате Совета Министров СССР консультантом Косыгина. От моей жены он узнал обо мне (стояла осень 44-го года, я был уже в Сталинграде), и от Совета Министров в СМЕРШ пошло письмо с просьбой освободить меня. Комитет государственной безопасности ответил отказом с жестким указанием о недопустимости вмешиваться в дела СМЕРШа, у Смирнова были даже неприятности.

Сотрудники УПП отнеслись ко мне вначале настороженно, но вскоре отношения наладились. Помню старого инженера, сталинградца, начальника производственного отдела. Он снабдил меня литературой по строительному делу, по деревообработке, помог мне во многом разобраться. Запомнился Агарков, очень порядочный человек, хороший организатор. Иногда по воскресеньям он приглашал меня к себе домой на обед, познакомил с женой и детьми.

Вскоре после того, как я начал работать в УПП, началась очередная подписка на заем. Стремление показать себя политически благонадежным туманило голову, и я подписался на две месячные зарплаты. Через несколько дней ко мне зашел секретарь партбюро. Он показался мне несколько смущенным. "Вы подписались на заем на два месяца, - сказал он. - А все мы обычно подписываемся на один месяц, на большее нам пойти трудно. Но в райкоме могут нас упрекнуть, что мы отстаем от передовиков. Поймите меня правильно". Я переписал свое заявление.

Одним из моих соседей по комнате в Доме специалистов был инженер-строитель, к моменту моего выхода из лагеря уже около года работавший в дирекции треста. Он-то и рассказал мне про хлопоты о моем освобождении, которые вел Букштейн. Ко мне он относился подчеркнуто хорошо. Но через некоторое время я заподозрил неладное. Дело в том, что обитатели комнаты никогда не расспрашивали друг друга о плене. Разговоры велись самые разнообразные, но эта тема никогда не затрагивалась. А

мой доброжелатель вдруг начал меня расспрашивать именно об обстоятельствах моего плена. Расспросы становились все настойчивее, и скоро прояснилось, что именно его интересует: как это я с моим еврейским происхождением уцелел в фашистском плену? Я понял, что передо мной осведомитель, получивший задание, и рассказал ему все то, что ранее говорил следователю СМЕРШа. После этого расспросы прекратились. Я ожидал, что ему станет ненужным хорошее отношение ко мне, но оно сохранилось.

После выхода из лагеря в моей жизни появилось новое - переписка с домом. Листки со знакомым почерком стали для меня большой радостью, они согревали душу, доносили дыхание родного человека. Каждое полученное письмо было праздником.

Мы договорились, что жена навестит меня. В середине апреля 1945 года я получил телеграмму, что она первого мая приедет на неделю в Сталинград.

И вот она приехала. Радость встречи трудно передать словами. Прохладная солнечная погода бодрила, было ясно, что со дня на день война должна кончиться. Настроение - отличное.

Мне дали на неделю отпуск, и мы были счастливы. Жене было 25 лет, мне 37. Помню хищно-холодную комнату, двуспальную кровать, гору теплых одеял. (Все это любезно предоставил нам мой сослуживец, живший с небольшой семьей в просторной квартире).

Восьмого мая я проводил жену. Поезд уходил вечером. Затемно я вернулся в квартиру своего благодетеля, затуманенный грустью расставания, и лег спать, но около полуночи меня разбудила беспорядочная стрельба. Выскочил на улицу - вся округа грохотала выстрелами, в небо взлетали ракеты. Я понял: война закончилась! Признаюсь: слезы брызнули из глаз. Хозяева квартиры тоже вышли из дома. Мы обнялись. Вернувшись, все сели за стол, появились бутылки, и мы просидели до утра, осушая бокал за бокалом. Незабываемое время!

* * *

В июне 45-го года меня назначили директором завода бетона и высокопрочного гипса, входившего в состав УПП. Без сожаления я расстался со своим прежним кабинетом и с удовольствием стал осваивать новое для меня дело.

Техническим руководителем был назначен Николай Николаевич Мораресқул, молодой инженер-строитель, ленинградец, года за два до этого приехавший в Сталинград по распределению после окончания института. Я подружился с этим славным, интеллигентным человеком, и наша дружба продолжается до сих пор.

В местном кинотеатре прошел трофейный фильм "Тетка Чарлея", пользовавшийся большой популярностью. В титрах значилось: "Русский текст М. Михелевич". В глазах знакомых, узнавших, что это моя жена, я приобрел дополнительную значительность. Я смотрел этот фильм несколько раз, для меня это было встречей с родным человеком.

Время шло. К тому, что война закончилась, стали привыкать, жизнь менялась, изменился и я. Послелагерное чувство, что я должен быть там, где приказано, и делать то, чего "требует от меня Родина", стремление "выслужиться" уже не тяготели надо мной, появилась и крепла мысль о возвращении в Москву, в родной дом, к своей профессии. И я сделал первый шаг: пошел к Букштейну выяснить, какие у меня шансы на отъезд из Сталинграда. Ответ был неутешительным: пока никаких, к тому же обращаться надо к управляющему трестом Салтыковскому, только он может освободить меня от работы в тресте.

В конце августа в Сталинград приехала жена с Наташенькой. Мы снова поселились у того инженера, который приютил нас в начале мая.

Через десять дней мы расстались, понимая, что само собой ничего "не образуется", надо хлопотать, надо искать пути к Салтыковскому.

По окончании войны в Москву было привезено большое количество трофейных западных фильмов. На широкий экран они, конечно, не попали, но московская партийно-хозяйственная элита бросилась их смотреть. Демонстрация фильмов сопровождалась устным переводом. Появился спрос на переводчиков. Жена занялась этим в дополнение к своей основной работе в Главкинопрокате и быстро приобрела репутацию хорошего переводчика с английского и французского. Перед отъездом в Сталинград на очередном просмотре она предупредила, что в следующий раз ее заменит другой переводчик. Один из заместителей председателя Госплана, некто Силуянов, спросил, почему ее не будет, и жена обо всем ему рассказала. Оказалось, что брат Силуянова тоже был в плену, поэтому он с большим сочувствием выслушал рассказ.

Вскоре после ее возвращения в Москву из Сталинграда подвернулся счастливый случай. Жена переводила фильм в подмосковном доме отдыха министерства строительства, и среди присутствующих оказался Салтыковский, который приехал в Москву в командировку. После сеанса жена подошла к нему, состоялся светский разговор, в ходе которого жена узнала, в какой гостинице Салтыковский остановился. На другой же день Силуянов позвонил ему. Этот "высокопоставленный звонок",

видимо, произвел на Салтыковского впечатление, и он заверил, что в скором времени отпустит меня из Сталинграда. Но я всего этого не знал, жена мне об этом не писала.

* * *

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: от телефонного звонка Силуянова до приказа о моем освобождении от работы в "Сталинградтракторстрое" прошло несколько месяцев.

Наконец 13 марта вышел приказ об освобождении меня от работы в УПП. Я действовал молниеносно: по "броне" треста купил билет в Москву, дал телеграмму жене и 16 марта вошел в вагон поезда. Не верилось, что все это не сон. Поезд тронулся. Я с волнением стоял у окна, не отрывая глаз от удаляющегося города.

Жена встретила меня. Мы бросились друг к другу. Такси не было, поймали грузовую машину, жена села в кабину, я с чемоданом забрался в кузов. Стоя, держась за крышу кабины, я, как завороженный, смотрел на проплывавшие московские улицы. Вот и Большая Якиманка, вот и дом 50, вот и квартира 12.

Несколько дней я никуда не выходил, привыкал к сознанию, что я дома, в семье, с женой и Наташей и с прежней домработницей Нюрой, что все это не мираж.

Но жизнь требовала своего. Я пошел в домоуправление, чтобы прописаться. Домоуправ, увидев мой вид на жительство, нахмурился, перешел на "ты" и сказал, что я должен получить в отделении милиции разрешение на прописку. В паспортном отделе милиции сказали, что мне надо обратиться в комнату номер такой-то, в Особый отдел. Сотруднику отдела я рассказал, что был в плену, предъявил вид на жительство и справку о том, что прошел проверку в лагере СМЕРШа (мне выдали ее при отъезде из Сталинграда). Он созвонился с кем-то и велел прийти на следующий день к 11 утра на собеседование. Я вышел от него в тревоге, все складывалось не так просто. Положение осложнялось тем, что Большая Якиманка была правительственной улицей, по ней проезжал Сталин на одну из своих подмосковных дач.

На другой день я встал рано, расцеловал жену и дочь и пошел на восьмичасовой сеанс в кинотеатр "Ударник" на фильм "Встречный". Тревога не покидала меня, хотелось отвлечься.

В одиннадцать я вошел в комнату рядом с Особым отделом, меня встретил молодой человек в штатском. Он представился следователем Комитета государственной безопасности и заявил, что должен допросить меня по всей форме. Перед тем, как начать допрос он сказал: "Вам предстоит рассказать обо всем, что было с вами. Ваше дело еще не пришло к нам из СМЕРШа, но скоро придет. Постарайтесь в своих показаниях не допустить существенных отклонений от того, что было вами сказано на

допросах в СМЕРШе. Отклонения повлекут за собой новое разбирательство, а вы уже и так много пережили, дополнительная нервотрепка вам ни к чему". Помню, что я поблагодарил его за совет.

Допрос продолжался два дня. Мы с женой в беспокойстве провели эти дни. И вот я снова в Особом отделе. Сотрудник набирает номер телефона и говорит: "У меня Фридман, что сказать ему?" Запомнилась эта минута напряженного ожидания ответа, пока на другом конце провода, очевидно, рылись в бумагах. И вот сотрудник произносит "Понял", кладет трубку и выдает мне разрешение на прописку.

С первого апреля 1946 года я вернулся на работу в НИИ, в котором проработал до своего 90-летия.

Москва, Икша, остров Хийюмаа (Эстония),

1998-1999 гг.

Post scriptum

Воспоминания писались мною для узкого круга ближайших родственников, но были прочитаны и не входящими в этот круг людьми. И выяснилось, что для лучшего понимания некоторых эпизодов в написанном мною им не хватает исходных сведений обо мне. Восполняю этот пробел, но пусть читатель не осудит меня за анкетный стиль изложения.

Родился 6 июля 1907 года в Москве. Отец, Николай Георгиевич - врач, мать Варвара Игнатьевна, урожденная Пейко - учительница. Мать происходила из коренной московской семьи, имевшей большую родню, относящуюся к элитарной дореволюционной интеллигенции, среди которой были видные историки, юристы, дипломаты. Мой дед, отец матери, юрист, имел личное дворянство. После Октябрьской революции многие из этого обширного клана эмигрировали.

В нашей семье любили музыку. Отец играл на виолончели, мать обладала хорошим голосом, играла на фортепьяно. Среди друзей и знакомых моих родителей многие играли на каком-нибудь инструменте - на скрипке, на цитре или имели хороший голос. Брат моего отца играл на флейте и прекрасно пел. Когда у нас собирались гости (а это бывало часто), они приходили обычно со своими музыкальными инструментами, и собравшиеся увлеченно музицировали до позднего вечера.

Меня с раннего детства стали учить игре на фортепьяно. Учебу в средней школе я совмещал с занятиями в музыкальном техникуме. Профессиональным музыкантом не стал, но музыка вошла в мою душу и обогатила мою жизнь.

В 1930 году я окончил Московский текстильный институт по специальности "прядение льна", около трех лет проработал в

провинции на одной из льняных фабрик, в 1934 году перешел на работу в Москву, в научно-исследовательский текстильный институт. К началу Второй мировой войны прошел серьезную школу научной работы, работал в должности старшего научного сотрудника, имел публикации, принесшие мне некоторую известность в нашем текстильном мире. Сложился круг друзей, в который входили как товарищи по институту, так и фабричные знакомцы.

В 1939 году женился на студентке ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) Марии (Мире) Михелевич. Ей не было 20 лет. 30 марта 1940 года у нас родилась дочь, которую мы назвали Натальей.

Август 1939 года мы с Мирой провели в Сочи в гостях у моих родителей (отец к этому времени работал в одном из сочинских санаториев). Первого сентября Мира уехал в Москву - начинался учебный год - а я остался еще на две недели. Я посадил ее на поезд, вернулся в родительский дом и вечером за ужином мы услышали по радио о нападении Германии на Польшу. Началась Вторая мировая война.